



„ОНА“ И „ОНЪ“.

(На мотивъ Беранже).

Плыла въ поднебесьи луна,
Шептался тѣсъ со вѣсъхъ сторонъ,
Къ нему ласкалася «она»
И также къ ней ласкался «онъ»;
 «Она» шептала: — «первый разъ
 Люблю я въ жизни, милый мой,
 И о любви твоей рассказъ
 Впервые слышу, дорогой;
Горитъ огонь въ груди моей,
Склонись ко мнѣ о, мой кумиръ,
Мы здѣсь подъ сумракомъ ночей
Забудемъ этотъ мѣръ...»
 И слышалъ я какъ надъ рѣкой,
 На томъ же мѣстѣ, черезъ годъ,
 «Она» клялася въ любви святой
 И клялся «онъ» но былъ не тотъ;
На третье лѣто: — «первый разъ
Люблю я въ жизни, милый мой...»
«Она» вела все свой рассказъ,
«Онъ» въ третій разъ все былъ другой.

Сверчокъ.



ЕЛЕНА
ЛАВРЕНТЬЕВА

ОНА И ОН
ЛЮБОВНЫЙ БЫТ
В МЕМУАРАХ И ПЕРИОДИКЕ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

НОВЫЧАНЫ.



УДК 94(47)''18/19''(084/1)

ББК 63.3(2)5яб

Л13

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ»

Выражаем искреннюю благодарность за финансовую поддержку в издании книги:

ООО «ТУРИНФО группа РФР»

и

Людмиле Петровне Бельяниновой

Дизайн проекта «Семейные архивы» – *Александр Архутик*

Компьютерная верстка – *Алексей Колганов*

Сканирование, обработка фотографий и цветокоррекция – *Александр Комаров*

Лаврентьева Е.В.

Л13 **Она и Он:** Любовный быт в мемуарах и периодике конца XIX – начала XX века. – М.: Этерна, 2014.– 196 с.: ил.

ISBN 978-5-480-00226-3

Главная тема альбома – «эти вечные он и она», не выдуманные, а правдивые истории любви конца XIX – начала XX века. Читатели познакомятся также с популярными сюжетами открыток того времени. Их авторы – как наши соотечественники, так и зарубежные художники: итальянский живописец Л. Балестриери, американский иллюстратор К.Ф. Ундервуд, известные карикатуристы А. Гильом и барон Ф. фон Резничек и др.

УДК 94(47)''18/19''(084/1)

ББК 63.3(2)5яб

© Е.В. Лаврентьева, 2014

© Е.В. Лаврентьева, фотографии,
открытки, графика из личной
коллекции, 2014

© ООО «Издательство «Этерна»,
оформление, 2014

ISBN 978-5-480– 00226-3

*А я – я бросаюсь в россыпь своего нового увлечения:
серия открыток с картин Балестриери* <...>.
Их двое – везде, эти вечные он и она, и от их
«вместе» куда-то падает сердце.
А. Цветаева. Воспоминания*

Ну что я могу поделаться, если моя голова набита цитатами?! Иногда я даже играю с ними, как ребенок с разноцветными кубиками. К примеру, извлекаю из запасников своей памяти цитаты на тему «Эти вечные он и она»:
«У нее было двое друзей. Один любил ее и приносил ей цветы. Другого любила она и давала ему деньги» (Ремарк).

«Она была достойна любви. И он любил ее, но он был недостойн любви, и она не любила его» (Гейне).

«Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастны» (Чехов).

В данной последовательности – это краткое содержание одного романа, но стоит изменить порядок цитат – получится другой. Три разных романа!

Мир меняется, а чтение романов по-прежнему остается увлекательным занятием. Вот и я решила навести порядок в своей библиотеке и собрать воедино любовные истории конца XIX – начала XX века. А заодно – пересмотреть старые открытки и фотографии. Кто-то скажет, что читать чужие письма неприлично. И будет прав. Но я уверена, что авторы и адресаты писем из моей коллекции не обидятся на меня: как-никак я спасла эти опусы от букинистической пыли. Смею надеяться, что мои милые собеседники, напротив, спустя столетие, пожелают передать читателям свой жизненный опыт и тайные знания, которые так или иначе сводятся к истине, что любви все времена покорны.

* Лионелло Балестриери (1872–1958) – итальянский художник.

*Таял сахар, плыл лимон,
Чай бледнел в фарфоре тонком.
Благородной ложки звон
Бил едва по перепонкам.*

*Абазжур, вечерний круг,
Легкий трепет занавески.
И хрустально-нежный звук
Долгожданной эсэмэски.*

*Нота счастья в тишине
На мгновенье прозвучала.
Ну и ну! Везет же мне
На хорошее начало.*

*Потому что не прошу
И просить любви не стану.
А разлюбит – допишу
Послесловие к роману.*

Елена Лаврентьева



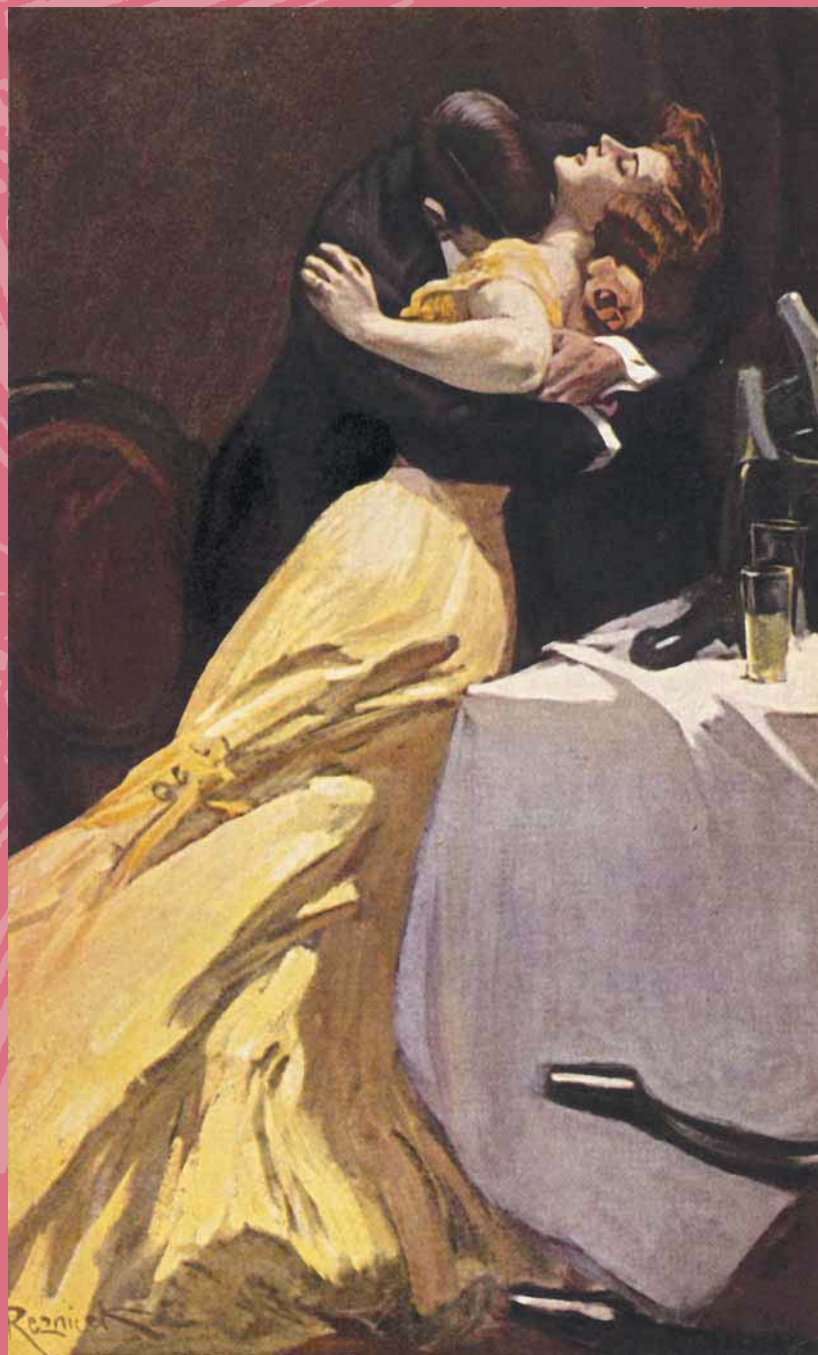




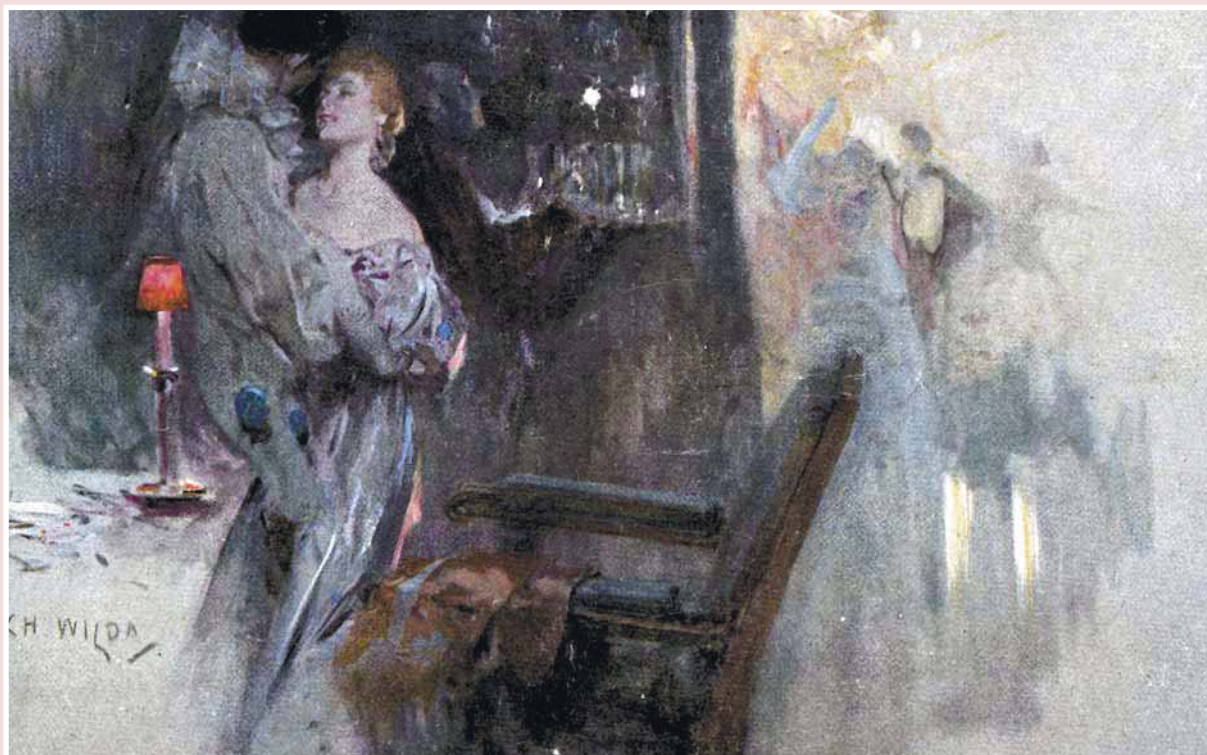
Ф. Резничекъ, Одинъ поцѣлуй.

F von Reznicek, Ein Kuss.

Из мемуаров



Ф. Резниченко. Опасный момент



В эту пору я жестоко влюбился в тонкую, стройную и красивую двадцатилетнюю «разводку» Марусю Емельянову.

И даже специально подружился с ее братом Павликом, и даже снимал с ним пополам комнату за пять рублей в надежде, что Маруся иногда будет заходить к брату и я ее смогу видеть. Но она, увы, так и не зашла ни разу за все время. Она сошлась с противным, толстым, похожим на борова жандармским полковником Ивановым и жила в маленькой гостинице у Золотых ворот. Я ходил, влюбленный, замученный и несчастный, вокруг этой гостиницы в надежде ее встретить и, увы, не встречал! А когда я справлялся о ней у швейцара, он всегда отвечал: «Нет дома!» Очевидно, такой был ему дан приказ.

Однажды утром я прорвался через эту блокаду. Швейцара не было, я постучался в дверь номера и вошел. Дверь была не заперта. Маруся лежала в кровати с жандармским полковником, который так рассвирепел при виде меня, что погнался за мной в коридор в одних подштанниках. После

этого моя любовь тут же скончалась в страшных мучениях.

Все это как будто обыденно просто и даже, может быть, неинтересно, но каких мук мне это стоило! Каких страданий! Каких слез! Каких бессонных ночей!

Да... Если и есть на свете любовь, в чем я очень сомневаюсь, то она бывает только в юности. А теперь, перебирая в памяти все свои многочисленные «любви», которые заполняли когда-то мою жизнь, когда я вспоминаю, из-за каких женщин я страдал, и переживал, и мучился, я изумленно думаю: «Какой же я был дурак! Как я мог так страдать из-за таких обыкновенных, злых, расчетливых и ограниченных женщин? Наваждение какое-то! Да повторись все это еще раз теперь — я бы и глазом не моргнув отвернулся бы от таких чувств». А вот поди ж ты, сколько все это мне стоило здоровья и нервов. И что же? Только вот об этих влюбленностях и бедной юности моей я и вспоминаю нежно и светло...

Александр Вертинский. Дорогой длиною

На курсах подготовки к аттестату зрелости О.И. Духаниной все, и учившие и учащиеся, отличались невероятным разнообразием возраста, от шестнадцати до пятидесяти лет. Никто из учителей меня не заинтересовал, только историю преподавал мальчик с поразившей чем-то внешностью.

Узкое лицо раннего итальянского Возрождения, с темными, страстными глазами и аскетически строгим ртом. Итальянская голова посажена на русскую, плотную, немного коренастую фигуру, с нехолеными, рабочими, широкими руками.

Он, года на четыре старше меня, казался мне «ровней», товарищем, а не учителем, как все прежние преподаватели. Незаметно мы подружились. <...> Стало необходимым, как воздух, чтоб после уроков Николай Васильевич шел со мной по заснеженному Арбату под руку, плечо в плечо, во мгле метели. Под скрип полозьев извозчичьих санок, под звон конок мы цитировали и разбирали последние стихи Блока, Брюсова или последнюю постановку Художественного театра. Несмотря на слипающиеся усталостью глаза, мы поднимались

в меблированную мою комнату, встречая негодующие, осуждающие взгляды квартирной хозяйки, как полагается — старой злой ведьмы, живущей сдачей комнат со столом. Николай Васильевич заботливо снимал с меня верхнюю одежду, укладывал на диван, приготавливал чай, не забывая принести что-нибудь вкусненькое — печенье, шоколад, мандарины. Мы просиживались за полночь, иногда совсем молча, рука в руку, потом он крестил мою подушку, шепча:

— Спокойной ночи солнышку моему, — и уходил. <...>

Я не заглядывала в будущее, но надеялась на нашу совместную поездку в Германию, где Николай Васильевич хотел поучиться в Боннском университете. В апреле, когда на всех углах запрыгали в руках мальчишек «морские жители», засветились желтые шарики мимоз, затарахтели вербные «тещины языки», Ник (так я теперь звала Николая Васильевича) прислал мне корзину дивных розоватых роз с красными прожилками.

В тот вечер он был странно взволнован, в темных глазах пробегали золотистые струи, тонкий рот, казалось, разбух, как вербная почка, руки нервно теребили свисающую прядь черных мягких волос. После чая с коньяком, совершенно неожиданно, его рот покрыл мои губы. Я растерялась, рассердилась, не могла понять. Дружба. Тихий Друг — «рыцарь-монах», и такая бурная страсть?

Несколько дней мы молчали, незаметно наблюдая друг за другом, боялись встретиться взглядами. Но когда он сказал, что едет в Бонн вперед, иначе пропустит весенний семестр, я, рыдая, бросилась ему на шею, умоляя не оставлять меня одну на экзамены. Он, так же плача, гладил мои волосы, целуя глаза, губы, руки, обещал в начале июня приехать за мной <...>.

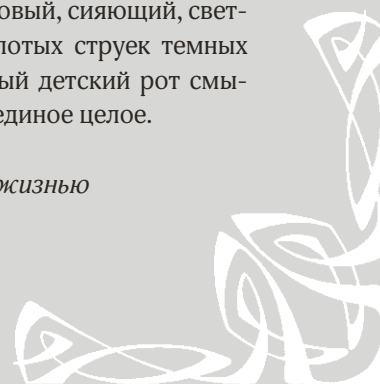
Ник приехал в начале июня, очень встревоженный, утешал, что все пустяки, что можно прожить и без «аттестата зрелости». Когда мы очутились в узеньком двухместном купе мягкого вагона, все действительно показалось пустяками. Огромный, страшный, злой мир остался где-то там, за пределами мчащегося поезда. Новый, сияющий, светлый вливался в меня из золотых струек темных глаз, и нежный, полуоткрытый детский рот смыкал нас плотным кольцом в единое целое.

Н. Серпинская. Флирт с жизнью



Э. Гейлеманъ,
Въ спальномъ вагонѣ.

Ernst Heilemann, Im Schlafwagen.



В романе Лескова «На ножках» одна молоденькая попадья три года «не любила» своего превосходного мужа, измучила и его и себя, потому что все эти три года была влюблена в гусара, с которым она даже не была знакома, а лишь видела его где-то однажды, мельком. Нечто вроде такой трагикомедии пережила в своем девичестве Люба Амфитеатрова — и очень серьезно и болезненно.

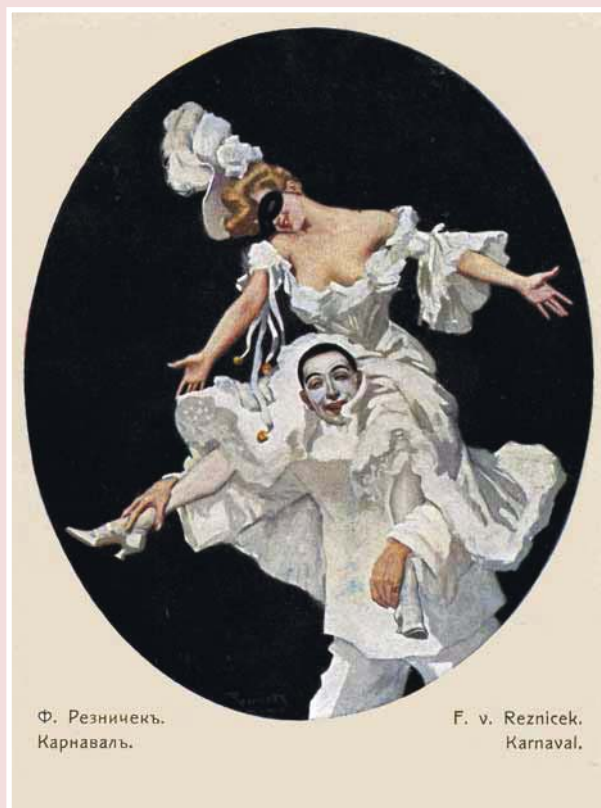
Влюбилась она в модного тогда артиста мамонтовской итальянской оперы, португальца Франческо Д'Андреа, певца средних качеств, но эффектного актера с барственными манерами, настоящего «героя плаща и шпаги». Он очень нравился в Москве, особенно Тореадором из «Кармен». Пожирал сердца дам и дев дюжинами, укусил и сердце нашей Любы.

— Что же тут необыкновенного? — скажет читатель. — Заурядная театральная психопатия! Мало ли шальных девчонок вертится, безумствуя, вокруг каждого имеющего некоторый успех артиста, не говоря уже о светилах!

Но в том-то и дело, что Люба никогда не была театральной психопаткой и не сделалась ею, влюбясь. Она не искала знакомства со своим кумиром; не гонялась за ним повсюду, где только была надежда его встретить; не приобретала множества его фотографий и не преследовала его просьбами об автографе; не писала ему писем ни за своей подписью, ни анонимных и псевдонимных; не участвовала в бенефисных подношениях и чествованиях; не бесновалась в бурных овациях, которые визгливою энергией женского энтузиазма часто уподобляют триумфы любимых актеров шабашам на Лысой Горе. Она даже не всегда посещала спектакли Франческо Д'Андреа, зная, что частое хождение дочерей в театр не нравится нашему отцу, а его она обожала и чтילה с безусловным повиновением.

Итак, никаких внешних признаков обычной театральной психопатии. Но сердцем ее овладела и тихо укоренилась в нем иная психопатия — любовная. Та, что у наших предков слыла «сумасшествием от любви» и что, по-моему, есть видоизменение религиозной экзальтации.

В состоянии такой любви к призраку Люба прожила несколько лет. Прекрасный португалец,



Ф. Резничець.
Карнаваль.

F. v. Reznicek.
Karnaval.

конечно, и не подозревал, благополучествуя в своей Коимбре, что где-то на дальнем севере, в России, он оставил этакий неугасимый пожар, зажженный им, без своего желания и ведома, в сердце какой-то незнакомой, никогда им не виданной московской девицы. Но если Люба не вышла замуж в своей среде, отвергнув нескольких женихов из профессорского круга, адвокатуры, коммерческой интеллигенции, в этом виноват главным образом «призрак»: все он, «голубой принц Венделин», «герой плаща и шпаги» Франческо Д'Андреа. Борьба близких с этой манией Любы — споры, доказательные уговоры, вызывания к здравому смыслу, стыжение, насмешки, окрики, угрозы одинаково разбивались об ее кроткое упрямство:

— Все, что вы говорите, может быть, правда, но виновата ли я, что его люблю? Оставьте же меня любить. Ведь я никому этим зла не делаю.

Когда и как кончилось Любино «сумасшествие от любви», я не знаю. С переселением в Петербург я отошел от быта и интересов отцова дома в Москве. А может быть, оно и никогда не кончилось.

А.В. Амфитеатров. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих

Как и когда у меня зародилась мысль послать цветы Павловой, не могу теперь вспомнить, но, так или иначе, после ряда колебаний и сильных угрызений совести, я продал свой велосипед и на вырученные деньги, сумму по тем временам не малую, заказал корзину белой сирени и послал ее молодой приме-балерине. Завернутый в большие листы шелковой бумаги, укутанный в ватные чехлы от стоявшего на дворе лютого мороза, отправился мой, перевоплощенный в сирень, велосипед из тепличной атмосферы цветочного магазина Эйлерса на Большой Морской в Мариинский театр. Что я пережил в этот памятный вечер, не поддается описанию...

Точно в чад ушел я, как на первые аплодисменты выбежала на сцену Павлова и, следом за ней, не один, а два театральных служителя вынесли чудовищных размеров куст белой сирени. По первому ряду пробежало негромкое, но внятное «браво»,



театр удвоил свои аплодисменты, и «галерка» завопила. Первый глубокий реверанс (и что это был за реверанс) Павлова сделала в сторону царской ложи, следующие реверансы залу и несколько жестов руками окончательно впавшей в истерику «галерке». На последний вызов Павлова отвечала, держась за мои цветы, и, убегая за кулисы, унесла с собой быстрым движением руки сорванную веточку сирени. Сердце мое теперь уже не билось, лишь приятно и томительно ныло. Никакой суровой каре я за мою наивную выходку, разумеется, не подвергся. Старый же швейцар дома на Песках стал отныне радовать меня лучше всякой музыки звучащими словами: «Барышня дома. Чужих велела не принимать, а вас, барин, значит, можно».

В какое священное негодование впали бы мои строгие тетушки (матери у меня давно уже не было), если бы они каким-либо чудом узнали о том, что их, казалось, вполне приличный на вид племянник по уши влюблен в балерину и, о ужас, бывает у этой ужасной женщины. И как бы они удивились, если бы могли, опять-таки чудом, заглянуть в скромную квартиру Павловой и застать в ней их блудного племянника в обществе околдовавшего его чудовища. Они бы увидели много цветов в крошечной гостиной, зажженную лампу под большим, модным по тем временам, кружевным абажуром; увидели бы очень молодую, стройную, бесконечно грациозную женщину, далеко не красавицу, но окруженную тем ореолом приветливости, чувства меры и врожденного такта, который сами же тетушки называли «шармом». Они бы могли застать ее перебирающей клавиши пианино или вырезавшей при участии их племянника из газет заметки — первые отзывы печати о Павловой, и клеивающей их в большой альбом. Осудить они, конечно, могли бы, но, право, не за что было судить.

Строго то, что томительные, но до чего сладкие минуты прощания у дверей маленькой прихожей чересчур затягивались, что целовалась не одна рука, а обе, что ответный поцелуй в голову, вместо символического, был похож на настоящий и, вместо виска, губы встречали щеку.

А.Н. Клейгельс. Цветы //
Пажи — рыцари России





Личность нашего будущего преподавателя истории вызывала у нас огромное любопытство. Пессимистки утверждали, что это наверняка будет какой-нибудь старый педант, ничем не лучше нашего прежнего учителя, ушедшего в отставку. Эти мрачные предчувствия не подтвердились. С первой же минуты своего появления новый историк был единогласно признан «душкой». В классе вспыхнула любовь к истории, уроки готовились очень старательно. Мы часто спорили, пытаясь решить, кто из нас станет его любимицей, вплоть до того дня, когда он начал объяснять нам отличительные черты каждой расы. Гипсовые головы эскимосов, африканцев, монголов и европейцев — мужчин и женщин — были сняты с полок, где они, покрытые пылью, провели долгие годы своей жизни. Затем историк перешел к обитателям Балканского полуострова. Рассказывая нам о сербах, он отметил, что они очень красивы, что у них черные волосы и великолепные глаза, и, окинув взглядом класс в поисках примера, добавил: «Как у мадемуазель Карсавиной». Это замечание окончательно определило мой удел «любимицы». Все споры прекратились, и с общего согласия новый учитель был предназначен мне. Пришлось играть выпавшую на мою долю роль, что я и делала с энтузиазмом. Я не имела соперниц: все подружки охотно предоставляли мне возможность блистать. Мы даже нашли способ улучшить вид моего «крысиного хвостика», который, к моему отчаянию, был самым маленьким и тоненьким в классе. Перед уроками истории черная лента, вдвое длиннее обычной, ловко вплеталась мне в волосы, увеличивая толщину и длину косы, а бант с исключительной тщательностью завязывался одной из подруг. От меня часто требовали доказательств любви к новому учителю и подвергали подлинным пыткам: «Если любишь историка, выпей до дна графин воды». И я глотала стакан за стаканом тепловатую воду, пока меня не начинало тошнить, но ни это испытание, ни мои уверения, что меня доведут до водянки, не останавливали моих палачей, пока я не осушала графин до дна. Другие девочки тоже иногда подвергались такому испытанию, чтобы проверить их верность своим кумирам, но я чаще всех бывала объектом подобных шуток.

Т.П. Карсавина. Театральная улица







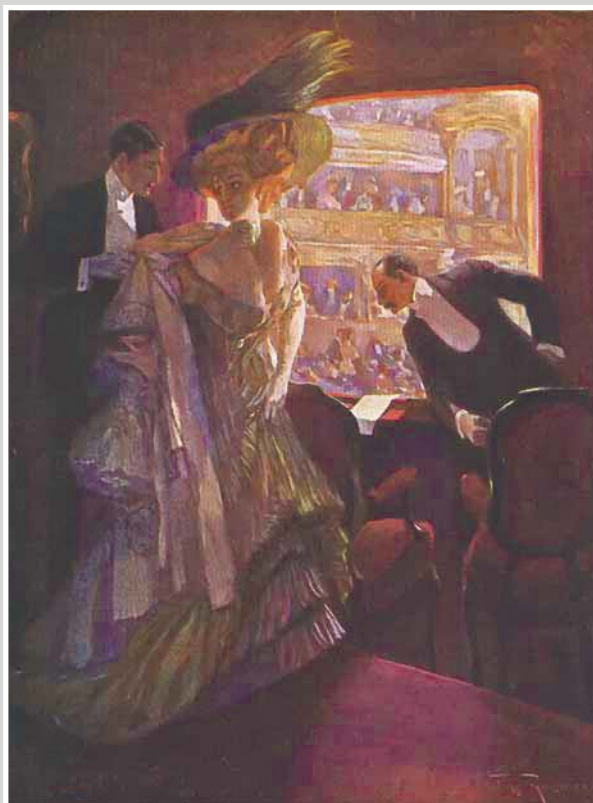
Я впервые увидел Тамару – выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, – когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. Кругом как ни в чем не бывало сияло и зыбилося вырское лето. Второй год тянулась далекая война. <...> Мы встречались за рекой, в парке соседнего имения, принадлежавшего моему дяде: в то лето он остался в Италии, и мы с Тамарой безраздельно владели и просторным этим парком с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгинов, и беседками, и скамьями, и террасами запертого дома. <...> С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен в городскую, гораздо менее участливую обстановку. <...> Негласность свиданий, столь приятная и естественная в деревне, теперь обернулась против нас; и так как обоим нам была невыносима мысль встречаться у меня или у нее на дому, под неизбежным посторонним наблюдением, а лукавства у нас не хватало, чтобы предвидеть, как скоро мы бы с этим наблюдением справились, Тамара, в своей скромной серой шубке, и я, с кастетом в бархатном кармане пальто, принуждены были странствовать по улицам, по обледелым петербургским садам, по закоулкам, где как-то разваливалась набережная, и где приходилось сталкиваться с хулиганьем, – и эти постоянные искания приюта порождали странное чувство бездомности <...>.

Из всех моих петербургских весен та весна шестнадцатого года представляется мне самой яркой <...>. Тамара и я всю зиму мечтали об этом возвращении, но только в конце мая, когда мы, то есть Набоковы, уже переехали в Выру, мать Тамары, наконец, поддавшись на ее уговоры и сняла опять дачку в наших краях, и при этом, помнится, было поставлено дочери одно условие, которое та приняла с кроткой твердостью андерсеновской русалочки. И не-

медленно по ее приезде нас упоительно обволокло молодое лето. <...> Многое уже не могу различить и не знаю, например, как и где мы с Тамарой расстались. Впрочем, для этого помутнения есть и другая причина: в разгар встреч мы слишком много играли на струнах разлуки. В то последнее наше лето, как бы упражняясь в ней, мы расставались навеки после каждого свидания <...>.

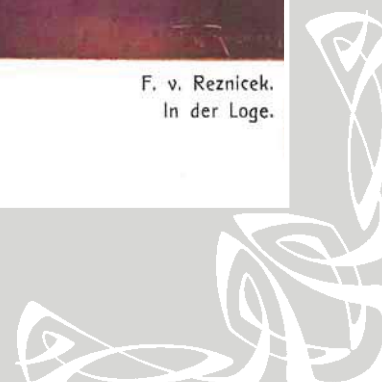
С раздирающей душу угрюмой яркостью помню вечер в начале следующего лета, 1917 года, при последних вспышках еще свободной, еще приемлемой России. После целой зимы необъяснимой разлуки, вдруг, в дачном поезде, я опять увидел Тамару. Всего несколько минут, между двумя станциями, мы простояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения; меня душила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нес фантастический вздор; она же спокойно ела шоколад, аккуратно отламывая квадратные дольки толстой плитки, и рассказывала про контору, где работала. С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого оранжевого заката. Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски. Всем известно, какие закаты стояли знаменьями в том году над дымной Россией, и впоследствии, в полуавтобиографической повести, я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре; но тогда мне было не до того; никакая поэзия не могла украсить страдание. Поезд на минуту остановился. Раздался простодушный свирест кузнечика, — и, отвернувшись, Тамара опустила голову и сошла по ступеням вагона в жасмином насыщенную тьму.

В. Набоков. Другие берега



Ф. Резничеъ.
Въ аванъ-ложъ.

F. v. Reznicek.
In der Loge.





И вот я впервые влюбился. Мне было двадцать семь лет, я окончил свое образование, инженер, два года прожил за границей. Вернувшись на родину, в Москву, получил первое место. Сладко сознавать, что твои знания, труд оценены и что ты полноценный и самостоятельный член общества.

Я влюблялся в жизни дважды и оба раза до безумия. Часто ходил к Худякову в гости, летом наша семья жила с его [семьей] в одной дачной местности — Салтыковке. Я влюбился в его сестру.

В наших с ним лыжных прогулках принимали участие только мешавшие нам, как мне тогда казалось, его сестры. Одной из них в дороге мне пришлось перевязать лыжный ремень, для чего нужно было стать на колени и взять ее ногу в валенке в руки. Мне запомнилось это мгновение, и оно было началом влюбленности, нараставшей постепенно и выросшей до самозабвения. Нет надобности описывать мои чувства — вероятно, они схожи у всех влюбленных: преклонение перед своим предметом, признание в нем

всех черт бесконечно дорогими, даже при сознании, что в отдельных случаях они являются недостатками, желание пожертвовать всем для него, отдать ему всего самого. Меньше всего тогда думалось о чем-то другом.

Что представляла собой она? Вероятно, недурной образец человеческой породы: молодое, высокое, пожалуй, выше, чем нужно для совершенной красоты, стройное тело, руки с длинными пальцами; горделиво, как у лебедя, посаженная головка с хорошими темно-белокурыми волосами, конечно, по тогдашнему обычаю, с заложенной довольно низко косой. Раздувающиеся ноздри, быстрые, немного мечтательные глаза. Грудной, задушевный голос. Простые, но со вкусом наряды. Курсистка медицинских курсов, мечтающая о работе врачом.

Как влюбленный, я вел себя, наверное, глупо. Довольно долго я держал себя ровно с обеими сестрами, не давая внешне предпочтения ни одной. Примерно через год общения с ними на всякого рода прогулках и в их семье я улучил минуту и сделал ей предложение. Наверное, оно было для нее неожиданным. Не помню, сейчас же или погодя она отказала, объяснив это любовью к своей профессии, которой брак помешает. Так ли? Через несколько месяцев опять встретились. Снова стал ухаживать — опять отказ. Я впал в отчаяние и, наверное, думал о самоубийстве; это был огромный удар для меня, тем более что я был самонадеян, жизнь в других отношениях удавалась, и мне казалось, что я счастливчик — мне все удастся, что я задумаю. А тут вдруг я отвергнут той, для которой я только и мог жить. Жизнь казалась бессмысленной, конченной.

Она, насколько я знаю, замуж не вышла. Она, ее сестра и брат так и остались холостяками. Живы ли сейчас, не знаю. Может быть, моих двух предложений было мало; если бы ухаживал и третий год, была бы моя. Просил вернуть мои восторженные письма — отказала.

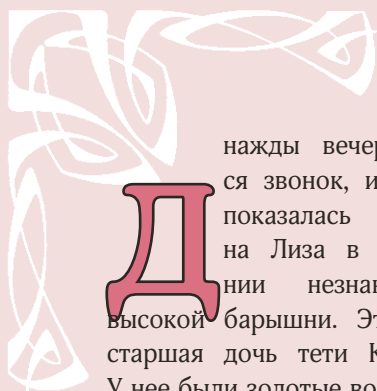
Так или иначе, расставаясь с ней, сказал себе: надежды рухнули, уйду в разгул...

Н.М. Шапов. Я верил в Россию...

Случалось, что на катке разыгрывались романтические истории, и мы, девочки, горячо переживали все их перипетии. Однажды здесь разыгралась настоящая трагедия. Кумиром девочек на катке был красивый юноша, неперенный участник всех гонок. Мы горячо сочувствовали его роману с очаровательной девушкой Лидой, которая приходила на каток со старушкой гувернанткой. Гувернантка обычно сидела в теплушке и клевала носом, а девушка и молодой человек катались, обмениваясь нежными взглядами. С некоторых пор мы стали замечать, что молодой человек стал отдавать предпочтение другой девушке. Однажды в первый день нового года был назначен карнавал. Ртуть на градуснике держалась очень низко. Но вечером костюмированные все же стали съезжаться к Патриаршим прудам. Приехала и наша любимица Лида. Она вышла из теплушки в шубке, оглядела каток и, скинув на скамейку шубку, к ужасу всех катающихся оказалась в легком белом вечернем платье с большим декольте и обнаженной спиной и руками. Движение на катке замерло. Прожектора освещали ее спокойно скользящую фигуру, ноги просвечивали сквозь легкий шелк платья. Она казалась почти обнаженной и необыкновенно красивой. Я не могла оторвать от нее глаз. Сделав несколько кругов, она исчезла в теплушке. Вслед за ней исчез и красивый молодой человек. На катке началось невообразимое волнение, почти все посетители катка знали друг друга, хорошо относились к Лиде и, конечно, сочувствовали ей. А через несколько дней стало известно, что она умерла от крупозного воспаления легких. Таким своеобразным самоубийством кончилась эта романтическая история.

Алиса Коонен.
Страницы жизни





Днажды вечером раздался звонок, и в передней показалась моя кузина Лиза в сопровождении незнакомой мне высокой барышни. Это оказалась старшая дочь тети Кати Ксения. У нее были золотые волосы и очень широкое румяное лицо. Мне она сразу понравилась. Через несколько дней я застал ее вечером в доме дяди Павла. Она вносила жизнь в этот печальный дом и всячески забавляла и веселила трех молчаливых и конфузливых девочек. Были устроены святочные гадания: на столе стояла миска с водой, в ней плавал огарок горящей свечи. Ксения надписывала бумажки. Она призадумалась с карандашом в руке, сказала: «Ну, пусть будет любовь», — быстро написала это слово и приклеила к миске с водой. Скоро этот листочек загорелся...

Через несколько дней я стал навещать Ксению в номерах на Остоженке, где она остановилась вместе с матерью. Придя в первый раз, я застал ее одну. Гостиница была грязненькая: на столе стояли тарелки с остатками обеда, которые Ксения тотчас велела убрать. Мы познакомились и все более интересовались друг другом. Положение троюродного брата давало мне право быть с ней на «ты» и усиливало интимность. В первый раз я соприкоснулся с душой взрослой девушки, уже много пережившей и передумавшей. Это совсем не было похоже на отношения с Люсей или Машей.

Ксения выросла в деревне Волынской губернии и уже девушкой попала в Петербург, где закружилась в вихре новых идей и литературных настроений. Она воспринимала все с исключительной свежестью и жаром: социализм, Ибсена, Мережковского. Она говорила мне, что была раньше религиозна, но теперь это прошло под влиянием некоторых прочитанных ею книг. Я спросил: «Каких?»

— Маркса и Энгельса, — отвечала Ксения.



При этом она очень любила поэзию, душилась духами «Vera Violetta» и, подобно Маше, произносила «р» как «г», только с еще большим треском. Я подарил ей ее любимого поэта Шелли в переводе Бальмонта, и мы стали его вместе читать. Мятежная, страстная, полная поэзии и сострадания к людям душа Ксении покоряла меня с каждым днем. Я поставил себе целью вернуть Ксению к религии, но сознавал, что, для того чтобы спорить с нею, у меня было мало аргументов. Скоро я стал засиживаться у Ксении далеко за полночь, а дом дяди Павла приобрел для меня совсем новую прелесть. <...> Любовь к Ксении захватила мою душу, и самое трудное жизненное испытание начинало казаться переносимым.

С. Соловьев. Воспоминания

Раз под вечер, в начале мая, мы с Таней отправились к тому святошинскому пруду, где прошлым летом катались на байдарках. Надвигалась гроза. Над прудом низко скользили стрижи. Вдали слышались глухие раскаты. В лесу стало внезапно тихо. «Гроза будет жуткая! Надо бы домой!» — сказал я нерешительно. Мне очень не хотелось возвращаться. «Вот глупость, что она нам сделает?» — весело возразила Таня. Еще удар грома. Молния прорезала свинцовую тучу, и полил ливень. Мы спрятались в барак, где хранились байдарки. Гроза бушевала. Но бушевала она и во мне: я был охвачен безвестным порывом. Хотелось схватить мою лазоревку и осыпать поцелуями. Мне нужна была большая сила воли, чтобы сдержать свой порыв. Гроза пронеслась по-весеннему быстро. Быстро очистилось и небо. Оно стало такое ясное, спокойное, словно омытое грозой. Все прояснилось и во мне.

Я не был Паоло, а Таня — Франческой да Римини.

Через несколько дней мама объявила мне, что она получила письмо от Антонины Николаевны Курбатовой, в котором та приглашает нас к себе в Рязанскую губернию.

Я решительно отказался. Мама настаивала. Она рассказала мне о дружбе тети Нины с моим отцом, о желании отца, чтобы я сблизился с Курба-

товыми: «Знай: это его завещание». Когда я сослался на свою дружбу с Навашиными, мама прямо сказала мне: «Я не могу допустить, чтобы для тебя весь свет сошелся на Навашиных. Кроме того, ты бываешь у Фортунатовых, у Белокопытовых. Неужели же ты и все и вся забыл ради Навашиных?»

Я покорился. С тяжестью на душе поехал в Святошино и рассказал Тане о предстоящей разлуке. Мы сидели на скамье в садике, где в начале зимы смотрели на звезды, такие равнодушные к земным страданиям.

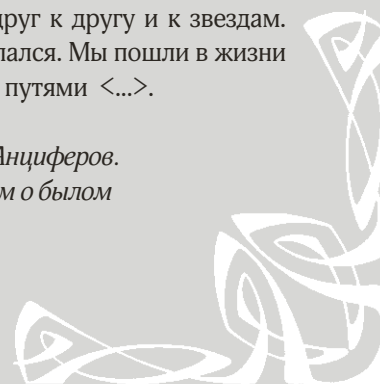
— Нас хотят разлучить, Коля. Но мы должны дать друг другу клятву под этими звездами, на этой земле, что ни у тебя, ни у меня не будет более близкого друга!

И мы поклялись. После этого Таня встала и пошла в дом. Она принесла с собой кипарисный крестик в коробочке. Нагнувшись, достала из-под скамейки, на которой мы сидели, комочек земли, раздавила его и наполнила им коробку. «Вот та земля, на которой ты клялся». После этого мы дали друг другу обещание часто переписываться. Мы, убежденные в том, что нас разлучают, решили, что и за перепиской нашей будут следить. Нам нужен шифр. Как же мы будем писать о нашей дружбе? И решили так: Я². Ведь мы теперь едины, но нас двое. Значит, я в квадрате. Мы простились. Скоро я уехал в Москву.

Так закончилась моя *prima vera*. Я еще не знал тогда, что навсегда покинул тот призрачный замок, из узкого готического окна которого смотрел на мир. <...>

Наша ребячья клятва была отвергнута жизнью. Она не походила на клятву Герцена и Огарева на Воробьевых горах. Она была обращена не к миру, не к людям, а лишь друг к другу и к звездам. И Я² распался. Мы пошли в жизни разными путями <...>.

Н.П. Анциферов.
Из дум о былом



Лето 1914 г. мы жили в Кисловодске, на верхнем этаже очень большого каменного дома на Красной Балке, совсем уж почти за городом. Прокофьев прожил у нас месяца полтора, спал на тахте в гостиной, где стояло пианино и где он по утрам занимался оркестровкой *Симфонии*. Кто тогда в доме знал о какой-то всепоглощающей любви, которая тут вспыхнула? Думаю, что наша англичанка, *Miss Isaacs*, которая это лето жила у нас и много с нами ходила, особенно в дальние прогулки, в степь, на Синие Камни, и ездила с нами в Пятигорск, — та все знала, но она вела себя по-дружески, маме ничего не сказала; замечала и знала и моя сестра и, кажется, была не очень довольна, она не представляла себе, как это все кончится. Уроки мои с Прокофьевым летом оборвались, но иногда он сажал меня за пианино, заставлял играть какую-нибудь вещь, особенно сонаты Моцарта, и не раз подсаживался к пианино и тут же играл вместе со мной в правой руке импровизации, как бы свой новый аккомпанемент — второй голос к вещи Моцарта... Получалось чудесно, что-то совсем в новом стиле; думаю, что Моцар-

ту понравилось бы. Эти импровизации, конечно, остались незаписанными...

Началась война, и в конце августа мы вернулись в Петербург, а Прокофьев уехал еще раньше. Его пока еще не призывали, как единственного сына, но многие из наших друзей почти сразу пошли на войну <...>.

Эту зиму я начала плохо, по вечерам была небольшая температура, я кашляла и по совету врача стала жить в Царском Селе, у моей старшей двоюродной сестры и ее мужа, но, конечно, часто приезжала в город, а Прокофьев бывал часто в Царском Селе в небольшом деревянном доме, где мои родичи снимали полдома у вдовы художника Каразина. Осенью он ездил в Италию, где его встречали как знаменитого уже композитора «*de la nouvelle vague*» <...>.

Что же было с «романом»? Любовь, взаимная, с провалами и высотами, кружила нас и мучила; мысль о браке уже явилась и до поездки в Италию, но я так боялась, такой для меня был ужас, что надо сказать об этом маме, что этот, с детства все еще не изжитый страх сковывал мой язык, да и сразу было предчувствие, что, если скажу, ничего хорошего не будет <...>.





Мои родители были поражены оба: как это так, они ничего не знали?! Конечно, брак с «артистом» им казался нежелательным. «Но ведь он уже и сейчас известен во всей России!» — говорила я. Этот довод мало на них влиял — сегодня знаменит, а может быть, завтра уже выйдет из моды... Тут, пожалуй, моя мать была сговорчивее; отец же такого жениха вообще не принимал всерьез <...>.

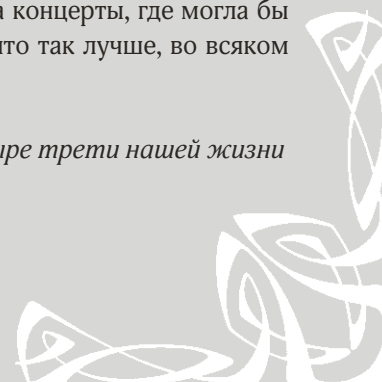
Прокофьев мне сказал, чтобы я убежала из дому, к его матери, что он найдет священника, который нас сразу обвенчает (это мне казалось маловероятным — я без разрешения отца не могла быть повенчана, и вряд ли без всяких бумаг или паспорта — а у меня его не было — кто-либо в Петрограде согласился бы совершать обряд). Но время истекало, и я решила тайком уйти из дома и вечером очень по-глупому вышла в переднюю, чтобы выскользнуть на улицу. Как только я подошла уже к двери, меня сзади схватил наш швейцар Федор, поднял на руки и внес назад в квартиру с какими-то словами, вроде: «Куда это вы, барышня, так поздно, так что барыня не велели выпускать». Дальше уж случилось то, что, наверно, было мне на роду написано:

я сидела неподвижно на стуле, задыхалась, почти без голоса кричала сестре: «Это ты одна знала, как ты могла, как ты могла...» Моя мать была, видно, не на шутку перепугана, старалась мне объяснить, что она узнала с утра, будто Прокофьев призван в армию и, конечно, уехать за границу больше не может; что отец мой оскорблен и будет непреклонен, что она взяла билеты на следующий день в Екатеринослав, куда меня и увезет недели на две, чтобы все успокоилось...

Мы уехали в Екатеринослав, и я там оставалась у кого-то из семьи Малама; за это время Румыния объявила войну России, и проехать в Италию стало вообще невозможно. Меня привезли назад в Петроград, я еще, кажется, раз говорила с Прокофьевым по телефону, но все было кончено.

Больше я никогда в жизни не встречалась с Прокофьевым и позднее, уже живя в Париже (с 1944 по 1948 г.), даже не ходила на концерты, где могла бы его встретить, — считала, что так лучше, во всяком случае для меня...

Н.А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни





Сколько в Москве прелестных женщин — я их вижу всюду: на улицах, в концертах, в театрах, — и ни одна, ни одна из них не любит меня!

Я влюблялся в первую миловидную молодую женщину, которую встречал на улице. Я целый день вспоминал о ней, стараясь подольше удержать в памяти ее образ, и оставался ей верен до вечера, каких бы прелестных женщин ни случилось мне потом встретить. Мое «чувство» всякий день было другим, насколько была другой пленившая меня на этот раз женщина. Если это была нежная девушка, мое чувство было нежным и робким, если это была зрелая красавица, сама бросившая на меня благосклонный взгляд, я чувствовал себя весь день Дон-Жуаном. Ни одну из них я не мог надеяться увидеть еще раз. Наша встреча была единственной, и потому к моим чувствам всегда примешивалась грусть. Только однажды пленившую меня прелестную женщину я видел еще и еще раз. Я встретил ее на Кузнецком мосту. Через день или два я увидел ее на том же месте и в тот же час. Она шла так же, как и тогда, изредка заходя в магазины, а за ней по улице ехала маленькая каретка, запряженная амери-

канским рыжим рысачком, на которые тогда была мода; с ней шел высокий лакей в английской ливрее, который принимал от нее мелкие покупки. Кто была она, я не узнал и не пытался узнать, хотя это было, вероятно, не трудно: по всей видимости, она принадлежала к какой-нибудь известной богатой или аристократической московской фамилии. Она была высока, стройна, исполнена какой-то нежной величавости. Лицо ее было изрыто оспой — густо-густо засыпано рябинами. Я бы сказал, что это ее не портило, нет, без этих рябин она не была бы сама собой; не будь их, с ними, может быть, ушло и ее очарование. И долго потом я не считал ни одну женщину красивой, если она не была рябой.

Когда мама приехала перед Рождеством в Москву спасать меня из «когтей тигрицы», я уже не томился неудовлетворенной страстью. «Тигрица» была кротким, чувственным, немного экзальтированным созданием и происходила из студии Художественного театра.

Я безропотно дал себя увезти домой и так же без протестов остался после Рождества дома.

В.М. Конашевич. О себе и своем доме

Мы должны были уезжать с Лизой в понедельник утром. Лиза уже наняла извозчика до Симферополя.

Я ждал Лену в субботу, но она не приехала. Я несколько раз проходил мимо виноградника, но никого не заметил. И в воскресенье утром ее тоже не было. Я пошел к станции дилижансов. Там было пусто.

Обеспокоенный, я вернулся домой. Лиза подала мне конверт.

— Какой-то парнишка принес, — сказала она. — Должно быть, от Анны Петровны. Чтобы ты пришел попрощаться. Ты пойдешь. Они хорошие люди.

Я ушел в сад, разорвал конверт и вынул полосу бумаги. На ней было написано: «Приходи в шесть часов к трем платанам. Лена».

Я пришел к трем платанам не к шести, а к пяти часам. Это было пустынное место. В каменистом овраге около русла высохшего ручья росли три платана. Все поблекло вокруг. Только кое-где цвели поздние тюльпаны. Должно быть, на этом месте был когда-то сад. Деревянный мостик был переброшен через ручей. Под одним из платанов стояла ветхая скамья на заржавленных чугунных лапах.

Я пришел раньше назначенного времени, но уже застал Лену. Она сидела на скамье под платаном, зажав руки между коленями. Платок упал у нее с головы на плечи.

Лена обернулась, когда я подошел к самой скамье.

— Ты не поймешь, — сказала она и взяла меня за руку. — Нет, ты не обращай внимания... Я всегда говорю ерунду.

Лена встала и виновато улыбнулась. Она опустила голову и смотрела на меня исподлобья.

— Мама говорит, что я сумасшедшая. Ну что ж! Прощай!

Она притянула меня за плечи и поцеловала в губы, потом отстранила и сказала:

— А теперь иди! И не оглядывайся! Я прошу, иди!

Слезы появились у нее на глазах, но только одна сползла по щеке, оставив узенький мокрый след.

И я ушел. Но я не выдержал и оглянулся. Лена стояла, прислонившись к стволу платана, закинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и смотрела мне вслед.

— Иди! — крикнула она, и голос ее странно изменился. — Все это глупости!

Я ушел. Небо уже померкло. Солнце закатилось за гору Кабель. С Яйлы дул ветер, шумел жесткими листьями.

Я не соображал, что все кончено, совсем все. Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной причине отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем. На следующее утро мы с Лизой уехали в Симферополь.

К. Паустовский. Далекие годы



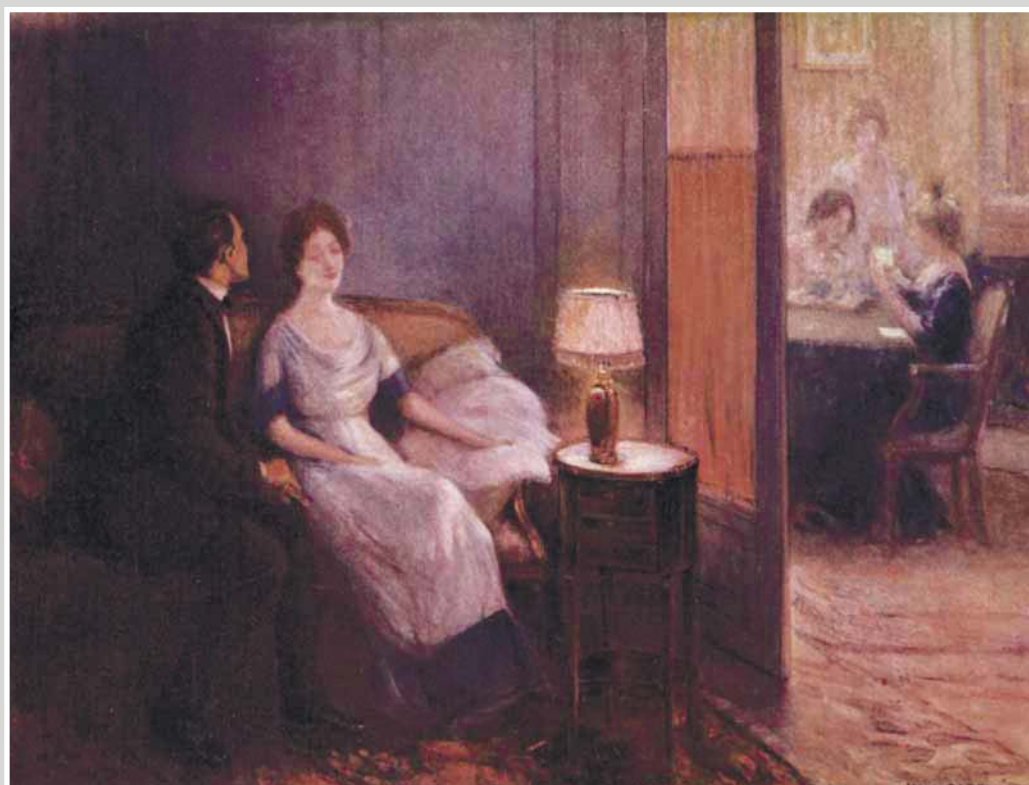


Центром шушарской жизни были Саша и Катя, а вокруг них группировалась молодежь разного калибра. Дачная провинциальная молодежь вносила оттенок богемы. Великосветская «приезжая» молодежь носила характер топорности, но и те и другие, попадая в атмосферу простой и безыскусственной шушарской жизни, делались просто людьми с искренними чувствами и серьезными запросами. Это отчасти было влияние мамы, отчасти исключительное умение Саши в каждом выявить все его лучшие человеческие стороны и, сняв с него шкуру его «социальности» (такого слова тогда не знали), сделать из него просто человека. Спектакли, пикники, увлечения, флирты — все это было так типично для помещичьей среды 90-х годов, но в этой, казалось бы, пустой и праздной атмосфере складывались твердые принципы, серьезные взгляды и постоянные чувства. Вот, например, как образчик может служить история одной любви, прошедшей через всю жизнь. У Саши самыми близкими его товарищами по училищу Правоведения были Левушка Иславин и болгарин Руццо Моллов. Оба они были завсегдатями в доме моего дяди А.А. Казембека. Моллов полюбил мою двоюродную сестру Патю, которой тогда было только шестнадцать лет, а она полюбила его. И тот и другой лето провели в Шушарах. Под видом юношеской дружбы эта любовь продолжалась в течение года, но мать ее, М.Л. Казембек, женщина с самыми великосветскими тенденциями, желая для своей дочери кого-нибудь более аристократичного, чем потомка пастушеского племени, показав-



РИТЦБЕРГЪ.

КОГДАБЪ Я ЗНАЛЪ!



ла ему «от ворот поворот», а Пате запретила с ним видаться и переписываться. Оба они очень тяжело пережили этот разрыв, но в те времена дети подчинялись родителям... Этим, казалось, закончился их роман. Он впоследствии женился на очень хорошей девушке и был, кажется, с ней счастлив. По служебной дороге он продвигался быстро и очень молодым дошел до какого-то высокого поста. М^ария Л^ьвовна, кажется, раскаивалась, что разрушила счастье дочери, но Патя выйти замуж не захотела и полюбить больше никого не могла. Прошло много лет. Она в качестве «сестры» прошла японскую войну, а затем была заведующей общины сестер милосердия в Петербурге. В это время Молову пришлось некоторое время жить в Петербурге, и он стал часто заходить к ней, и они проводили долгие вечера в дружеской беседе. Очевидно, что как у него, так и у нее нахлынуло молодое непрожитое чувство. Но она была «сестрой», он был женат. Вскоре он уехал в Болгарию, и опять пространство и время разделили их. Прогромыхала Первая германская война, Патя была командирована в Германию для обследования положения русских пленных (она оставила записки). Прокатилась революция <и вернула> старенькую, седенькую, но бодрую старушку в Казань. Трудно ей пришлось: не на что было кормиться, но и сюда проник луч юношеской любви. Она стала ежемесячно получать от него боны через Торгсин. Так продолжалось года полтора. Однажды Патя получила от его жены известие о его смерти и вскоре после письма завещанную им для нее небольшую сумму денег... А счастье было так близко, так возможно!

Ксения Николаевна Боратынская. Мои воспоминания

Из мемуаров





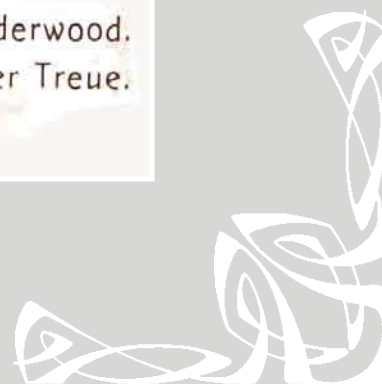
К. Ф. Ундервудъ.
Лишь другъ для друга.

C. F. Underwood.
The only two at dinner.



К. Ф. Ундервудъ.
Фіалка — знакъ вѣрности.

C. F. Underwood.
Veilchen — Zeichen der Treue.
Violets for Faithfulness.





Моя жажда сближения с женщиной наконец победила всякую робость. Еще весной я сделал попытку. Я ходил вечерами в гимнастическое общество и вдоволь насмотрелся на бульварных фей. Присмотрелся и к способу вступать с ними в знакомство. Раз вечером, под предлогом, что я иду к Станюковичу, я пошел на бульвар и заговорил с одной, сплел ей глупую историю на манер Рокамболя о том, что мне нужно провести с кем-нибудь два часа. Она повела меня в № гостиницы. Я — очень грубо и угловато, конечно, — разыгрывал из себя опытного человека. Например, заглянул за перегородку, где стояла кровать, и сказал:

— А! Обыкновенное устройство.

А я в первый раз в жизни был в № гостиницы. Мне было 13 лет.

Мы выпили с девушкой бутылку портвейна. Потом, заплатив ей 2 рубля, я ушел, к ее удивлению. На большее я еще не решался.

Но желание все жгло.

Осенью того же года отец был в Нижнем на ярмарке. При нем я не решался. Я еще не знал, что все это можно скрыть от родных. Мне казалось, что нужно потратить целую ночь.

Я ездил на скачки и играл на деньги, оставленные отцом, который хотел и в свое отсутствие бороться с тотализатором.

В один из вечеров я преодолел свою робость и решил не вернуться домой на дачу. Я пошел к городу. Одну минуту мною овладело смущение. Я крикнул извозчика.

— В Петровское-Разумовское.

— Два рубля, пожалуйста.

— Рубль.

Если бы он согласился, я бы уехал в Петровское-Разумовское, но извозчик не согласился, и я пошел дальше в город. Я не знал, куда идти, и пошел на Тверской бульвар. Там ходили феи и молодые

люди. Я растерянно ходил взад и вперед. Мужество меня оставило, я ни на что не решался. Может быть, я прошел сорок раз бульвар взад и вперед. Одни женщины казались мне слишком развязными, другие слишком нарядными; я не знал существующих цен.

Становилось поздно. Бульвар пустел. Я уже готов был уйти домой, но одна мучительная мысль остановила меня: все равно дома не поверят, что ты только ходил по бульвару, неужели же терпеть неприятности задаром, лучше уж за что-нибудь.

Я подошел к какой-то девушке, отвечавшей моим — странным, впрочем, — понятиям о миловидности. Мне жаль, что я забыл ее имя.

— Пойдемте со мной.

Она остановилась и оглядела мое юное лицо.

— Куда?

Мы пошли рядом.

— Вы знаете куда.

— Нет, не знаю...

— Ну, вот, в гостиницу.

— А что мы будем там делать?

— Ну, вы знаете.

— Нет, не знаю...

И так мы бродили по бульвару. И я бесился, бесился от сознания, что она смеется надо мной.

Наконец мы сговорились и пошли. Мы опять пили портвейн, потом я подсел к ней и стал растегивать ее лиф. Она держала себя со мной как важная дама. Отстранила меня и ушла за перегородку раздеваться.

Я старался внушить себе, что это та минута, какой я ждал так давно, но было все мучительно пусто и глупо.

Прощаясь, я был преисполнен тоской. Я был разочарован до глубины души моей. Я дал девушке семь рублей. Она всячески благодарила меня.

В. Брюсов. Моя юность

О причине смерти Тарасова <Тарасов Н.Л. – меценат, пайщик Товарищества Художественного театра>, ни для кого не объяснимой, непонятной, пронеслась легенда. Она связывала гибель Николая Лазаревича с неразделенной трагической любовью к нему молодой девушки из богатой купеческой семьи Грибовых. Эту фамилию я слышала от Николая Лазаревича, который как-то вскользь рассказал мне о сложившейся чрезвычайно тягостной для него ситуации. Легенда гласила, что Грибова за день до смерти Николая Лазаревича позвонила ему по телефону и сказала, что ей нужен его совет: выходить ли ей замуж за молодого человека (фамилию его я не помню), который давно добивается ее руки. Тарасов ответил, что хорошо знает этого молодого человека, считает, что он обладает большими достоинствами, посоветовал не пренебрегать его чувством и выйти за него замуж. Грибова поблагодарила и повесила трубку. На следующий день в газетах появилось траурное извещение о том, что ночью Грибова, а вслед за ней и ее жених покончили жизнь самоубийством. Николай Лазаревич, как потом рассказывал слуга, пришел домой очень поздно, принял ванну, потом заперся у себя в спальне, сказав,

что будить его не надо. Через некоторое время раздался звонок, когда слуга открыл дверь, он увидел на площадке гроб и венок. Человек из похоронного бюро, спросив, здесь ли квартира Тарасова, сказал, что привез все заказанное, и протянул квитанцию. Сколько ни протестовал слуга, объясняя, что в доме никто не умирал, как ни уговаривал забрать гроб, посыльный и слышать ни о чем не хотел. Заявив, что заказ оплачен, адрес правильный, а до остального ему нет дела, он ушел.

Встревоженный слуга постучал к Николаю Лазаревичу. Ответа не было. Если верить легенде, гроб и венок прислала Тарасову близкая подруга Грибовой, считавшая Николая Лазаревича виновником ее гибели. Страшный подарок опоздал, Тарасов так и не узнал о нем <имеется в виду так называемое тройное убийство, случившееся в Москве в конце октября 1910 года. Причиной были запутанные личные отношения между студентом Н.М. Журавлевым, замужней дамой О.В. Грибовой и Н.Л. Тарасовым. Первым застрелился Журавлев, за ним – Грибова, за ней – Тарасов. Ходили слухи, что такая последовательность была между ними условлена. – Ред. >.

Алиса Коонен. Страницы жизни





В это время у Петровых гостила сводная сестра Любоми Ивановны, которую все звали «тетя Ляля». Она была еще молодая, довольно интересная, очень умная и отличалась наименьшим количеством филистерских предрассудков. Несмотря на свою молодость, она пережила тяжелую душевную драму. Еще когда она прозябала в институте, у нее был платонический роман: молодые люди очень любили друг друга, но он держался всегда на каком-то весьма почтительном расстоянии. История и смысл этой почтительности раскрылись через несколько лет, наполненных глубокой любовью с обеих сторон, раскрылись как настоящая мрачная трагедия. В один прекрасный день молодой еще человек, предмет страстного обожания, внезапно — и как будто без всякой причины — сошел с ума. И тогда обнаружилось, что сошел он с ума на почве *lues*'а, от которого все время тайно лечился. Было ли это наследственным подарком родителей или каким-либо старым грехом — осталось неизвестным. Во всяком случае, он об этой болезни знал, внутренне страшно мучился, и этим-то и объяснялся с его стороны сугубый платонизм по отношению к его возлюбленной. Надеялся ли он вылечиться, не хватало ли у него мужества отказаться навсегда от девушки или он порывался ей открыть свою страшную тайну — неизвестно: он так и умер, не сказавши последнего, прощального слова. Тетя Ляля, узнав все от его сестры, подруги по институту, заметалась, как подстреленная птица. Сердце ее кровоточило. Она была сама теперь близка к душевному краху. Охотники знают: бывает так, что раненная на лугу утка вдруг

сгорбится, задрожит, пойдет штопором вверх, вот-вот упадет, но как-то выпрямляется и вдруг несется уже по горизонтали в неведомую даль: может, где-нибудь далеко и упадет, ставши добычей ястреба, а может, и выправится, рана затянется и только будет ныть иногда, как физическое воспоминание о прошлом.

Так вот и бедная «Лялька», с копной своих кудрей, метнулась в бессарабскую даль, чтобы заглушить боль сердца. Здесь родные относились к ней со всей деликатностью и заботой <...>. Итак, она стала оправляться, была иногда даже весела и, как это часто бывает с людьми после большого пережитого потрясения, напускала на себя внешнее легкомыслие и даже флиртовала. Павел Иванович уже ласково поглядывал на нее своими бархатными горячими глазами и похаживал вокруг, как воркующий голубь около голубки. Уже старики Станевичи не то радостно, не то испуганно исподтишка наблюдали, что-то будет (хотя, вероятно, ничего и не было бы)...

Но тут появилась на сцене Елена Владимировна. Все оси переместились. Лялька собрала чемоданы и, как ее ни упрашивали, уехала в Москву: то ли ей не хотелось быть на вторых женских ролях, то ли ей было больно противопоставление настоящего легкомыслия и веселья напускному, в котором всегда, где-то в глубине души, дрожала маленькая горькая слезинка, но она не сдалась на все уговоры, уверения и заклинания и так же внезапно исчезла, как внезапно появилась.

Николай Бухарин. Времена



К. Ундервудъ.
Первый даръ.

C. Underwood.
Their first weddinggift.
Ihr erster Brautschmuck.



К. Ундервудъ.
Смѣта доходовъ.

C. Underwood.
Das Einkommen.
A problem of income.



К. Ундервудъ.
Послѣдній вальсъ вмѣстѣ.

C. F. Underwood.
Den letzten Walzer beisammen.
The last waltz together.





Медовый мѣсяць.

La Lune de miel.

В конце сентября 1894 года сестра Наташа обвенчалась с С.А. Макаровым. Родители сильно противились этому замужеству, настаивали на том, чтобы Наташа отложила выход замуж, по крайней мере, до окончания Сергеем Антоновичем университетского курса. Где-то в глубине души родители также надеялись, что если дело затянется, то, может быть, оно и совсем не состоится. И чтобы отвлечь Наташины мысли от этой затеи, зимой предыдущего года папа отвез ее в город Слободской к сестре бабушки Александры Васильевны, которая была игуменьей монастыря.

Папа, мама и я в начале лета ездили по Волге, Каме и Вятке в город Вятку, а оттуда на лошадях в Слободской; погостили у маминых родственников и с Наташей вернулись тем же путем домой — железной дороги из Москвы на Вятку тогда не было. Зимой же папе с Наташей пришлось ехать от Нижнего Новгорода на лошадях 600 верст.

Как ни уговаривали Наташу отложить замужество, она от него не отказалась и потихоньку от

родителей обвенчалась. В Дмитровском уезде жил священник, рисковавший венчать «краденые свадьбы» — между родственниками или без разрешения родителей невесты. Делал он это, разумеется, за повышенное вознаграждение. Его-то услугами и воспользовались Наташа и С.А. Макаров. Адрес этого сельского священника указывали чиновники духовной Консистории. Очевидно, и они получали от этого некоторый доход.

Наташа продолжала жить с нами, и ее замужество выяснилось в конце ноября или в декабре, когда папа вернулся из Петербурга после похорон Александра III.

Так как родители не собирались прощать Наташу, она стала жить в семье Сергея Антоновича. Дома от такого положения у всех было неприятное настроение. Выйти из него помогла Софья Петровна Рубцова, мамина приятельница, в ее жизни произошло приблизительно то же самое, что и у Наташи. Перед

Страстной неделей, когда папа собирался говеть, исповедоваться и причащаться, Софья Петровна как бы случайно заметила, что он-де как искренний христианин не может причащаться до тех пор, пока не простит Наташу и не благословит молодых. Родителям и самим было тяжело сносить возникшее разногласие. Они поплакали и решили кончить все по-хорошему; забыв про старые обиды и огорчения, по старинному обычаю — иконой и хлебом — благословили молодых. Так был положен конец семейному раздору, длившемуся несколько лет. Наташа с Сергеем Антоновичем стали жить самостоятельной жизнью. Сергей Антонович вскоре начал работать помощником у очень крупного адвоката Дерюжинского, затем и сам сделался присяжным поверенным и вел крупные гражданские дела, что давало ему хорошее обеспечение. В Дубне папа выстроил им отдельный дом.

В.Д. Зѣрнов. Записки русского интеллигента

Внешность Николая Борисовича <Шереметева. – Е.Л.> была очень сценична: прекрасные голубые глаза, высокий лоб, волнистые, откинутые назад волосы. Несколько неправильный нос, унаследованный от матери, не портил в ту пору его красивого лица. Присущая всем Шереметевым музыкальность сказалась и в нем. Он прекрасно пел цыганские романсы, аккомпанируя себе на гитаре.

Таким был Николай Борисович, когда в 1895 году он приехал в Петербург и поступил на службу в Главное Управление Уделов.

Когда через три года он явился к Сухаревой и объявил о своем намерении жениться на разводящейся замужней женщине, имеющей двоих детей, это известие разразилось ударом грома. Полагаю, что между родителями и сыном был не один тяжелый разговор с цитатами из Священного Писания, увещеваниями и угрозами. Однако Николай Бори-

сович был непреклонен и впоследствии никогда не вспоминал о том, чего ему стоили эти дни. В конце концов победа его была полной: осенью 1898 г. мама получила приглашение от родителей Шереметевых поселиться у них, пока не закончится развод. Ее появление у Сухаревой растопило лед. Она сумела очаровать всех, вплоть до прислуги <...>.

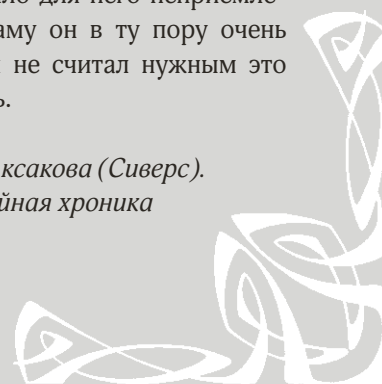
Новая *belle-fille* <невестка (фр.). – Ред. > имела дар оживлять общество, в котором она находилась. Она говорила с собеседником о том, что интересовало его, а не ее самое, и это элементарное правило светскости пленило Москву, которая всегда была большой, милой, но неповоротливой провинцией.

К началу 1899 года развод был закончен, и 21 февраля мама венчалась с Николаем Борисовичем в домовая церковь шереметевского Странноприимного дома. На свадьбе была только своя семья. Из Петербурга приехали, сменившие гнев на милость, бабушка и дедушка. Мама венчалась в светло-сером суконном платье с белыми розами.

Молодые Шереметевы после свадьбы поселились на Пречистенском бульваре в казенной квартире Удельного ведомства, куда к этому времени были доставлены из Петербурга мамини вещи <...>.

Я еще застала тот золотой век, когда, расставаясь на 2–3 часа, дядя Коля так крестил и целовал маму, как будто она уезжала на Северный полюс. Это делалось при всем честном народе, в любой фешенебельной гостиной и подчас вызывало добродушную усмешку присутствовавших; но дядя Коля не выносил никаких чужих норм для своих чувств, и всякое подлаживание к мнению света было для него неприемлемым. Маму он в ту пору очень любил и не считал нужным это скрывать.

Т.А. Аксакова (Сиверс).
Семейная хроника





История графини Брасовой была такова. В нашем полку в течение нескольких лет проходил службу бывший наследник российского престола и младший брат императора, великий князь Михаил Александрович, командовавший нашим лейб-эскадроном. Для полка это было, разумеется, очень лестно, ибо благодаря этому обстоятельству полк приобретал в гвардии видное положение. Великий князь Михаил приковал к полку внимание своей матери — старой императрицы Марии Федоровны, которая с момента поступления своего сына в кирасиры начала выказывать к нашему полку особое благоволение. Синие кирасиры вошли в фавор, приобрели репутацию модного гвардейского полка, и при дворе их в шутку стали называть «маленькие синие Ее Величества».

Все шло хорошо, покуда в один прекрасный день великий князь не почувствовал, что крепко любит жену одного из наших офицеров, а именно жену некоего поручика В. Случилось так, что и мадам В., в свою очередь, крепко полюбила великого князя. Между ними завязался роман.

Несмотря на то что великий князь был человеком весьма застенчивым и вел себя очень скромно, слух о его романе получил распространение, и об этом пошли разговоры как в придворных кругах, так и вообще в большом свете.

От своих старших товарищей я слышал, что командовавший в то время полком генерал Бернов по своему недомыслию и сам покровительствовал этому роману и будто бы даже сводил влюбленных, дабы угодить великому князю. В этом отношении

Бернов поступал прямо против добрых гвардейских традиций, отнюдь не допускавших никаких романов между полковыми дамами и товарищами их мужей. Принцип товарищества настолько культивировался в полку, что считалось крайне предосудительным для всякого гвардейца отбить у полкового товарища жену. Такие дела если не кончались дуэлью, то, во всяком случае, влекли за собой неминуемый выход из полка офицера, посягнувшего на жену товарища.

Тем временем слух об отношениях Михаила Александровича к мадам В. дошел до самой императрицы. Верная семейным заветам покойного Александра III, державшегося в личной жизни самых строгих и незыблемых семейных устоев, императрица потребовала от сына немедленного разрыва с мадам В. Однако великий князь настолько был увлечен своей дамой сердца, что пошел против воли матери. Ввиду того что муж мадам В. относился ко всей этой истории довольно-таки пассивно и к жене своей, как видно, особых чувств не питал, великому князю быстро удалось добиться развода мадам В. и вступить с ней в морганатический брак, узаконив последний церковным обрядом. Поручику В. в виде компенсации великий князь предложил видное место во дворцовом ведомстве, каковое место поручик и не замедлил принять, тотчас же убравшись из кирасирского полка.

Ввиду того что великим князьям полагалось жениться исключительно на принцессах крови и особах, принадлежащих к тому или иному царствующему дому, брак его с мадам В., разумеется, вызвали в громкий придворный скандал, весьма расстроивший старую императрицу.



Великому князю, конечно, тотчас же пришлось покинуть наш полк, и на злополучную жену его полились при дворе потоки грязи. Ее обвиняли в умышленном завлечении и соращении скромного, неопытного и нравственного великого князя. В угоду старой императрице бедную даму наградили кличками интриганки и развратницы, хотя вся ее вина заключалась в том, что она полюбила великого князя. Все общество отвернулось от нее. Сам государь был весьма недоволен проступком своего младшего брата, который как бы в наказание был отправлен в провинциальный город Орел, где ему было предложено принять скромный 17-й армейский Черниговский гусарский полк.

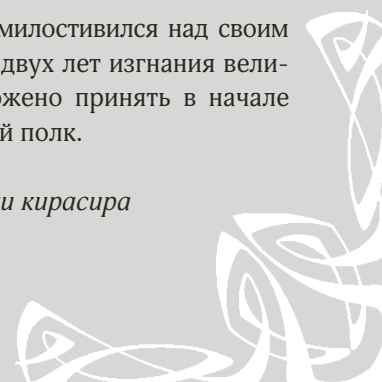
Дело, однако, было сделано: как-никак мадам В. оказалась законной супругой великого князя. Однако как на супругу морганатическую ни на нее, ни на ее детей распространяться все права ее высокопоставленного мужа не могли. Она была рождена простой смертной и поэтому не имела права принять ни титула, ни имени своего мужа. В подобных

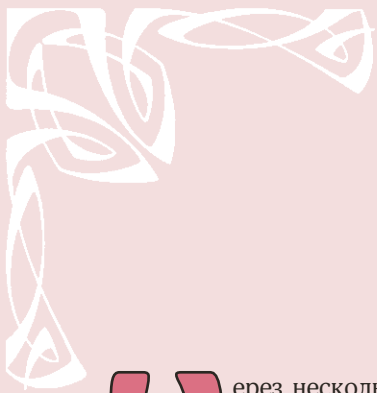
случаях обычно предусматривалось жаловать морганатических супругов высокопоставленных лиц титулом графини или княгини. Для них придумывали какую-нибудь новую фамилию, и таким образом некогда скромная мадам В. превратилась в один прекрасный день в графиню Брасову, каковая фамилия была ей дана по названию крупного имения, принадлежащего великому князю Михаилу Александровичу.

Вся эта история произошла года за три до моего поступления в полк, но и в мое время переживалась она старшими моими товарищами все еще очень остро, в особенности теперь, в 1912 году, когда великий князь вернулся из Орла в Петербург, привезя с собой жену.

Царь в конце концов смиростивился над своим младшим братом, и после двух лет изгнания великому князю было предложено принять в начале 1912 года кавалергардский полк.

В.С. Трубецкой. Записки кирасира





Через несколько дней после нашего первого объяснения с Михаилом Викторовичем <Арцимович М.В. – тульский губернатор (1905–1907), муж мемуаристки. – Е.Л.> он поставил мне ультиматум прекратить всякие отношения с Андреем Львовичем <Толстой А.Л., чиновник особых поручений при тульском губернаторе, сын Л.Н. Толстого. – Е.Л.> и в течение шести месяцев не видаться и не переписываться с ним.

Конечно, ультиматум Михаила Викторовича не выполнялся. Мы встречались с Андреем Львовичем у знакомых и на улице и переписывались с помощью преданной мне няни младших детей. Мы оба считали необходимым встретиться и окончательно согласовать наши действия, что возможно было сделать в Москве, куда я собиралась ехать к сыну Виктору, чтобы присутствовать при операции удаления гланд, и мы договорились о дне и часе встречи.

Для приличия Андрей Львович попросил своего друга Николая Леонидовича Оболенского, относившегося к нам очень сочувственно и доброжелательно, присоединиться к нему.

Остановилась я в гостинице «Метрополь», а они в «Славянском базаре». Во избежание всяких толков и сплетен мы были очень осторожны, во всех общественных местах бывали втроем и совершенно открыто обедали в «Славянском базаре». Эти свидания были для нас действительно решающими. Андрей Львович и слышать не хотел, чтобы я проводила в семье какие-то испытательные сроки. Мы должны открыто бороться за счастье. Этого страстно желал он, к этому и я стремилась всем своим существом. Поэтому мы решили немедленно добиваться развода: он со своею женой, я со своим мужем <...>.

Через несколько времени приехал мой отец и увез меня домой <...>.

С детьми <шестеро детей в браке с М.В. Арцимовичем. – Е.Л.> повидаться мне больше не дали, да я и сама считала, что не имею права подвергать

их тяжелым сценам прощания. Чем они скорее меня забудут, тем лучше для них. Но в душе я была уверена, что они никогда меня не забудут, в особенности Михалик <...>.

Вскоре Андрюша приехал сообщить мне, что его развод закончен и что все нужные бумаги уже у него в руках. Мой адвокат Головин тоже обещал скорый конец моего развода, и мы условились венчаться в Москве в первых числах ноября 1907 года. Нам казалось все это так просто <...>.

Оказалось, что ни в одной церкви в Москве ни один священник не решается на наше венчание, так как Святейший Синод издал постановление «не сметь венчать графа Андрея Толстого» под угрозой ссылки в Соловки.

Теперь всем кажется очень странным значение, которое тогда придавалось церковному браку, но в то время было по-другому. Только один церковный брак считался законным. Мы оба очень приуныли. Николай Леонидович Оболенский, наш верный друг, приехавший на нашу свадьбу, нас утешал и ободрял, говоря, что еще не все потеряно. До 14 ноября, когда наступает рождественский пост, во время которого запрещается венчаться, еще более недели. Надо будет попытаться обвенчаться где-нибудь в деревне за крупную сумму денег. Деревенского бедного священника это может настолько соблазнить, что он рискнет не подчиниться распоряжению Победоносцева <Победоносцев К.П., в 1880–1905 гг. обер-прокурор Синода. – Е.Л. >.

Было решено послать агентов в дальние окрестности, а самим искать священника в ближних деревнях <...>.

Настало 13 ноября. Мы трое сидели в нашем номере в «Славянском базаре», молчали, как приговоренные к смертной казни. Вдруг в нашу дверь врываются два наших агента, ездившие по уездам, и говорят: «Все готово, священник согласен, надо немедленно ехать на станцию Ока Курской железной дороги и потом сорок верст на лошадях. Поезд уходит через полчаса» <...>.

Через три дня, 17 ноября 1907 года, Андрей Львович послал в Ясную Поляну на имя Льва Николаевича телеграмму: «Моя свадьба состоялась 14. Счастлив, спокоен. Андрюша» <...>.

17 февраля 1908 года у нас родилась дочка Машенька, и прежние дети и мое прошлое подернулись с ними дымкой. Однако Машенька никогда не заменила Михалика в моем сердце, никогда. Михалику принадлежала вся сила моей любви, на какую я только была способна.

Есть женщины-жены и есть женщины-матери. Нормальной женщине, мне кажется, нужен не только ребенок, но и муж, а мужа-то у меня раньше и не было. Поэтому Михалик и не мог удержать меня в прежней семье.

В новой же семье у меня, кроме Машеньки, был страстно мною любимый и страстно меня любящий муж, и потому Машенька не могла занять первого места в моем сердце. Она в нашей жизни с Андреем Львовичем всегда была на втором плане. Она не поглощала всю меня: у нее была хорошая няня, воспитавшая первых детей Андрюши, и я, покормив ее каждые три часа, спешила к мужу.

Мы снова вернулись к нашей жизни с ее занятиями, чтением и даже развлечениями. Любовь наша, казалось, все росла и росла, и мы все более и более сближались. Никаких между нами не было острых углов, все казалось так прочно и так хорошо.

Екатерина Васильевна Толстая.

Записки (1876–1919)



О тношение Блока к Волоховой <Н.Н. Волохова, актриса Художественного театра. — Е.Л.> было различным. Одинаковой была только полнота влюбленности.

Мария Андреевна в своих воспоминаниях о Блоке говорит про Волохову: «Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, какое это было дивное обаяние. Высокая, тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы и глаза именно крылатые, черные, широко открытые “маки злых очей”. И еще поразительна была улыбка, сверкающая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка... Но странно, все это сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта. Он отошел, и она сразу потухла».

Однако последнее неверно. Да, Снежная дева потухла, ушла, но сама Волохова осталась той же яркой индивидуальностью, какой была и до увлечения Блока. Ее сверкающую улыбку и широко открытые черные глаза видели фойе и кулисы Художественного театра, где она училась. Прекрасное лицо, чарующий голос, великолепный русский говор, интересный ум — все это делало ее бесконечно обаятельной. Она сама была влюблена в Петербург, его мглу и огни.

Чувство Волоховой к Блоку было в высшей степени интеллектуальным. Собственно, романтика встречи тут заменяла чувство. Наталья Николаевна бесконечно ценила Блока как поэта и личность, любила в нем мудрого друга и исключительно обаятельного человека, но при всем этом не могла любить его обычной женской любовью. В ней еще не умерло чувство к другому человеку, с которым она только что рассталась. Кроме того, она, вероятно, чувствовала, что Блок любит не столько ее живую, сколько в ней свою мечту <...>.

Однажды Любовь Дмитриевна <Блок, жена поэта. — Е.Л.> приехала к Волоховой и прямо спросила: может ли, хочет ли Наталья Николаевна принять Блока на всю жизнь, принять поэта с его высокой миссией, как это сде-

лала она, его Прекрасная дама. Наталья Николаевна говорила мне, что Любовь Дмитриевна была в эту минуту проста и трагична, строга и покорна судьбе. В ее мудрых глазах читалось знание того, кем был ее муж, и ей было непонятно отношение другой женщины, недостаточно его оценившей. Волохова ответила: «Нет». Так же просто и откровенно она сказала, что ей мешает любить его любовью настоящей еще живое чувство к другому, но совсем отказаться от Блока она сейчас не может. Слишком упоительно и радостно было духовное общение с поэтом.

В.П. Веригина. Воспоминания



Я по сей день благодарна судьбе за то, что она свела меня с Еленой Павловной <Муратовой. — Е.Л.>, умудрила понять ее сердце, ум, благородство — и полюбить.

Очень интеллигентная, образованная, хорошо знающая иностранные языки, Елена Павловна все свои скромные сбережения тратила на путешествия. У нее был иронический, насмешливый ум, заметный всем, и нежная, ранимая душа, скрытая от посторонних. Она была несчастна, одинока и светски-религиозна. Елена Павловна действительно нечеловечески, жертвенно любила своего «идола», но сложнее, чем это представляла себе трезвая Анна Павловна. Не знаю, был ли талантлив профессор в пенсне, Сергей Федорович Дмитриев, как мерещилось Елене Павловне, но она твердо верила, что он гений, и из любви своей сделала культ. Вся жизнь была построена на подборании немногих крох радости, выразившихся в том, что изредка он приезжал к ней — пить чай и устало рассказывать о своих делах. И какова же была сила ее чувства, если, несмотря на все страдания, на нелепость, оскорбительность этих отношений — Дмитриев любил жену и детей, — она полностью подчинила своей любви всю жизнь.

Думаю, что ее карьере в театре помешал не только обезобразивший лицо карбункул (из-за чего она могла играть лишь сугубо характерные роли, которых не хватало для полного актерского самовыражения), — Елена Павловна внутренне оторвалась от театра, потому что любимый ею человек был ученый. И, несмотря на дружбу с Качаловым и его женой Ниной Николаевной Литовцевой, Ольгой Леонардовной Книппер, душой она была повернута к людям науки, а не к артистам.

В театре ее не очень понимали, но любили за порядочность, доброту, восприимчивость, спокойно-тактичную манеру поведения, ответственное отношение к своим обязанностям. Однако театр уже не мог поглотить ее, поглощенную странной, труднообъяснимой любовью. Когда Дмитриев овдовел, в жизни Елены Павловны ничего не изменилось, но, видимо, вокруг было много разговоров, причинявших ей дополнительную боль <...>.

Туберкулезом легких ей был отпущен короткий срок. Она хворала долго, иногда, казалось, совсем поправлялась, потом снова заболела. В последнее свое лето лечилась в санатории, мы с папой навещали ее — гуляли, катались на лодке, она смешно



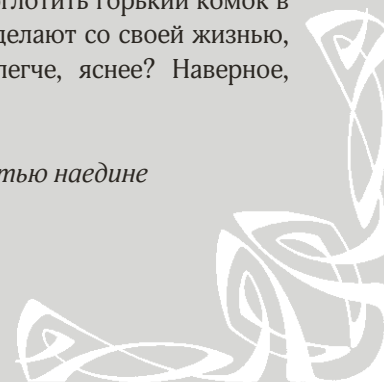
рассказывала об отдыхающих. Знала, что больна непоправимо, не хотела говорить об этом, осенью начала работать, но вскоре ее пришлось поместить в Бакунинскую больницу, из которой она уже не вышла. Ей было немного за сорок.

Я часто навещала ее. Она, грустная, нежная и какая-то светлая (а ее считали веселой, язвительной), подолгу смотрела на свои любимые красные гвоздики — «его цветы». Судьба напоследок порадовала ее: боготворимый ею человек часами сидел рядом, держа за руку, читал, развлекал, шептал ласковые слова — и страдал вместе с ней.

— Я никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас, — призналась она мне в очередное мое посещение, сияя улыбкой, не сходявшей теперь с ее лица.

А я смотрела на нее, умирающую, на него, убитого горем, и не могла проглотить горький комок в горле — что же это люди делают со своей жизнью, неужели нельзя проще, легче, яснее? Наверное, нельзя.

С. Гуаццинова. С памятью наедине





Единственный человек, с которым мы были действительно близки в этот период нашей жизни, была Александра Аркадьевна Давыдова. Мы оба горячо ее любили. Александра Аркадьевна была очень несчастлива в личной жизни. Ее старший сын в ранней молодости тяжело заболел, и хотя он пережил мать, но не столько жил, сколько умирал годами на ее глазах.

Старшая ее дочь, Лидия Карловна, с которой мать была ближе всего, была замужем за М.И. Туган-Барановским. И это супружество доставляло вначале матери большую радость. Это была на редкость любящая и совершенно неразлучная пара. Работали они тоже вместе. Лидия Карловна деятельно помогала мужу в его писаниях и самостоятельно сотрудничала в «Мире Божьем». Встретить где-нибудь одного из них было почти невозможно. Если вы видели Лидию Карловну, стоило вам оглянуться, чтобы в двух шагах заметить высокую, худощавую, немного сутуловатую фигуру Михаила Ивановича. Он был сильно близорук и постоянно пугался, теряя вдруг Лидию Карловну, стоящую в двух шагах от него.

Вечером, возвращаясь домой, они имели обыкновение заезжать в булочную Филиппова на Невском. Лидия Карловна оставалась в санках, а Михаил Иванович заходил в булочную. Но и тут не обходилось без недоразумений. Однажды народу около булочной было особенно много, и извозчиков тоже ждало немало. И вдруг Лидия Карловна услышала испуганный женский крик:

– Ай! Что вам надо? Куда вы лезете?

Лидия Карловна приподнялась и увидела то, чего опасалась. Михаил Иванович по своей близорукости принял какую-то даму за Лидию Карловну и настойчиво пытался сесть в ее сани, повторяя успокоительно:

– Лидуся, Лидуся, что ты?

Лидии Карловне пришлось громко позвать его:

– Мишенька, куда ты? Я здесь.

Только тогда он, очень смущенный, высвободил свою длинную ногу из-под полости чужих

саней и под хохот публики пробрался к своему извозчику.

Но у этой нежной пары было одно большое горе. Оба они горячо мечтали о детях, и каждый год судьба посылала им надежду. Но ни разу Лидии Карловне не удалось произвести на свет живого ребенка. Никакие меры, никакие советы врачей не помогали.

Наконец, последний раз, на девятом году брака, последствием преждевременных родов явилось тяжелое заболевание. Сначала никто из врачей не мог поставить диагноз. Но потом оказалось, что это белокровие, болезнь, против которой медицина не знала в то время средства.

Отчаяние Михаила Ивановича не знало границ. Об Александре Аркадьевне и говорить нечего. Со смертью Лидии Карловны в ней что-то оборвалось, и мы все, окружавшие и любившие ее, сразу почувствовали, что она не сможет больше жить.

Казалось, ничто не может потрясти Александру Аркадьевну, но судьба готовила ей новый удар. Через 10 месяцев после смерти Лидии Карловны Михаил Иванович вторично женился, и корректуры его очерков, печатавшихся в «Мире Божьем», возвращались в редакцию, правленные незнакомой женской рукой.

Это окончательно сразило Александру Аркадьевну. Она не могла представить, что ее дочь будет так скоро забыта.

*Т. Богданович. Повесть моей жизни.
Воспоминания*

Ивановы <поэт В.И. Иванов и его жена, писательница Л.Д. Зиновьева-Аннибал. — Е.Л.> уже год жили в Петербурге. Их дети со своей воспитательницей оставались в Женеве, где они учились в школе.

Их квартира представляла собой, как я уже говорила, «башню». Во всех комнатах стены были круглые или косые. В комнате Лидии, куда он меня ввел, обои были ярко-оранжевые. Здесь стояли только два очень низеньких дивана и странный, высокий, пестро окрашенный деревянный сосуд, в котором она хранила в виде свитков свои рукописи. Комната Вячеслава была узка, с огненно-красными стенами, так что в нее входили, как в раскаленную печь. Быт их для тогдашней России был очень необычен. Все женщины нашего круга держали, по меньшей мере, кухарку. Лидия же, помимо своих литературных работ и приема множества посетителей, делала все

сама, так как не терпела в своем жилище человека, не разделяющего полностью их жизни.

Придя к ним, я почувствовала себя зайчиком, попавшим в пещеру пары львов. Я видела, что Лидия по оригинальности и силе переживаний не уступает мужу. Они встретили меня с необычайным интересом; этот интенсивный интерес к людям был свойствен им обоим. «Вячеслав и я, — сказала Лидия, — мы любим в лицах людей видеть сны». Казалось, что в моем лице они видят какой-то сон, который им нравится. И я только боялась, чтобы, проснувшись, они не были слишком разочарованы.

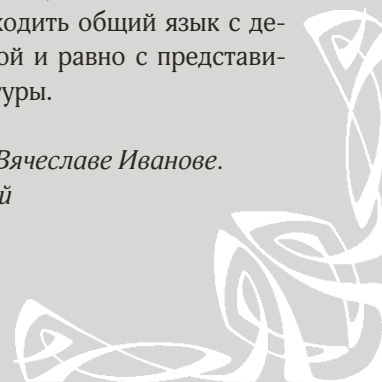
Вячеслав Иванов был тогда центром духовной жизни Петербурга. Легко вдохновляясь и обладая даром проникновения, он умел усиливать творчество других.

М.В. Сабашникова. Зеленая Змея



Доверчиво, щедро рассказывал В.И. о своей покойной жене Зиновьевой-Аннибал <ум. 1907. — Е.Л.>, об ее необыкновенном даровании постигать человека. Вспоминал о ее тяжелой смерти — она задохнулась, заразившись скарлатиной, — волновался, ходил по комнате. Я с замиранием сердца смотрела на большой портрет сильной, властной женщины, висевший в простенке. Позднее мне стало известно о посмертном общении поэта с умершей возлюбленной. Гершензон говорил, что Лидия Дмитриевна была не менее одарена, чем ее гениальный муж. Она умела находить общий язык с деревенской старушкой и равно с представителем высшей культуры.

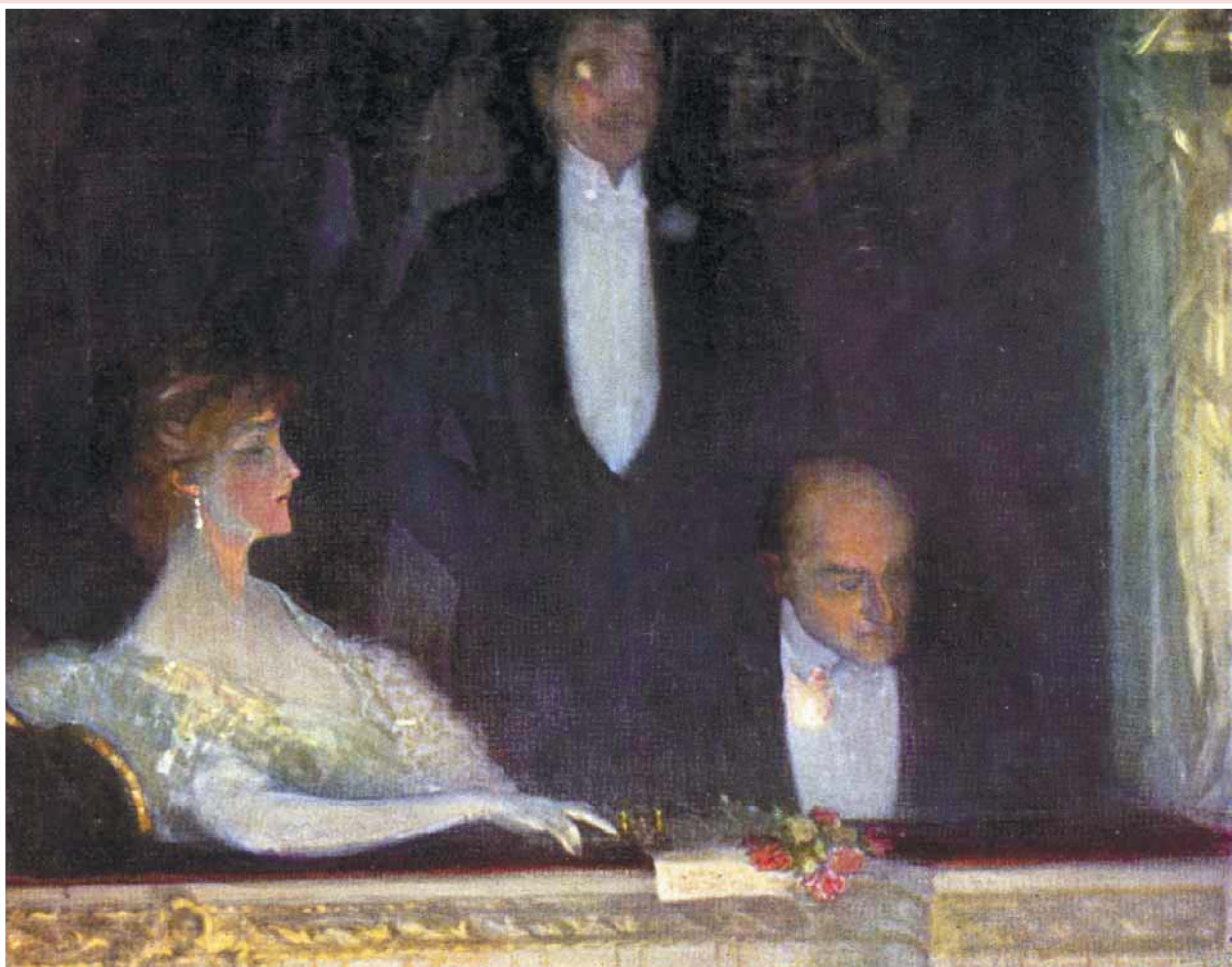
*О. Мочалова. О Вячеславе Иванове.
Из воспоминаний*



Если я буду продолжать так писать — только об Антоне Павловиче и о себе — только о «тайном», то как же это будет несправедливо по отношению к моему мужу. Всюду, где было примешано имя Чехова, он был груб, даже возмутителен. С первого рукопожатия... до последнего поклона на могиле... Но куда же я здесь вставлю настоящий образ моего мужа? Его образ, каким я любила его. А любила я его как друга, как спутника, как родного человека крепко и горячо, и жалела я его мучительно и прощала ему охотно, потому что понимала в нем все и сама причиняла ему немало страданий своей вечной борьбой с ним за то, что мне было дорого. Но я должна продолжать писать именно так, потому что я пишу о «тайном», а моя супружеская жизнь была явной, и все знали, что мы были примерными супругами.

...Я была страстная мать, любила своих детей тревожно, болезненно, но одна любовь совсем не мешала другой. Эти два чувства тянулись параллельно, не соприкасаясь, оба одинаково сильные и мучительные. Две натянутых, напряженных струны. Дети радовали, огорчали, часто болели, отнимали много времени и заботы. Казалось, жизнь была полна ими, и даже муж, который тоже безмерно любил детей, находил, что я слишком живу в детях, что это ненормально. Пожалуй, это и было так, но как же могло быть, что в то же время я никогда, никогда не расставалась с мыслью об Ант[оне] Павловиче ?

Л.А. Авилова. Из повести «О любви»



Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе: его, меня и М.А. <М.А. Волошин. — Е.Л.>, потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недостижимая, это был М.А. Если Н.С. <Н.С. Гумилев. — Е.Л.> был для меня цветение весны, «мальчик», мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то М.А. для меня был где-то вдали, кто-то, никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую.

Была одна черта, которую я очень не любила в Н.С., — его неблагоприятное отношение к чужому творчеству. Он всегда [всех] бранил, над всеми смеялся, — мне хотелось, чтобы он тогда уже был «отважным корсаром», но тогда он еще не был таким.

Он писал тогда «Капитанов» — они посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы. Но он ненавидел М.А. — мне это было больно, очень здесь уже неотвратимостью рока встал в самом сердце образ М.А.

То, что девочке казалось чудом, — совершилось. Я узнала, что М.А. любит меня, любит уже давно, — к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву — я буду тебя презирать». Выбор уже был сделан, но Н.С. все же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор! Я попросила Н.С. уехать, не сказав ему ничего. Он счел это за каприз, но уехал, а я до осени (сентября) жила лучшие дни моей жизни. Здесь родилась Черубина. Я вернулась совсем закрытая для Н.С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за М.А. Почему я так мучила Н.С.? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого.



О, зачем они пришли и ушли в одно время! Наконец, Н.С. не выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз: выходите за меня замуж», — я сказала: «Нет!»

Он побледнел. «Ну, тогда Вы узнаете меня».

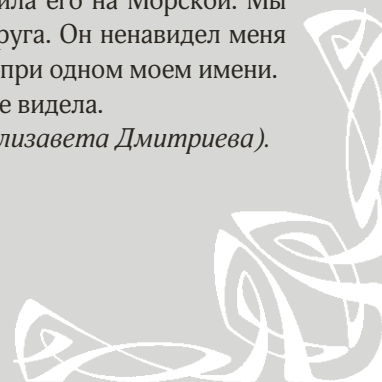
Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н.С. на «Башне» говорил бог знает что обо мне. Я позвала Н.С. к Лидии Павловне Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н.С.: говорил ли он это? Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Через два дня М.А. ударил его, была дуэль.

Через три дня я встретила его на Морской. Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени.

Больше я его никогда не видела.

Черубина де Габриак (Елизавета Дмитриева).

Исповедь





Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева, с «Парсифаля», где были всей семьей и с Борей <Андрей Белый. — Е.Л.>. Саша <А.А. Блок, муж мемуаристки. — Е.Л.> ехал на санях с матерью, я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где — на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то фразу я повернулась к нему лицом — и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь это то же, то же! «Отрава сладкая...» Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться, о, как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость, немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла.

И с этих пор пошел кавардак. Я была взбуждена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предвещая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепашковые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом (смешно тебе, читательница, это начало всех «падений» моего времени?)... Но тут

какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) — отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы.

(Дорогой читатель, обращаюсь теперь к вам. Я понимаю, как вам трудно поверить моему рассказу! Давайте помиримся на следующем: моя версия все же гораздо ближе к правде, чем ваши слишком лестные для А. Белого предположения.) То, что я не только не потеряла голову, но, наоборот, отшатнулась при первой возможности большей близости, меня очень отрезвило. При следующей встрече я снова взглянула на Борю более спокойным взглядом, и более всего на свете захотелось мне иметь несколько свободных дней или даже недель, чтобы собраться с мыслями, оглядеться, понять, что я собираюсь делать. Я попросила Борю уехать. <...>

Как только он уехал, я начала приходить от себя в ужас: что же это? Ведь я ничего уже к нему и не чувствую, а что я выделявала! Мне было и стыдно за себя, и жаль его, но выбора уже не было. Я написала ему, что не люблю его, и просила не приезжать. Он негодовал, засыпал меня письмами, жаловался на меня всякому встречному. Это было даже более комично, чем противно, из-за этого я не смогла сохранить к нему даже дружбу.

Л.Д. Блок. И был и небылицы о Блоке и о себе

M.B.

Крестовская была дочерью известного писателя Всеволода Крестовского, автора «Петербургских трущоб». Ее родители разошлись, когда она была еще ребенком, и девочка была предоставлена сперва старой бабушке, а потом самой себе.

Юность была трудная, заброшенная, скудная... И все-таки она обмолвилась прелестной фразой в одном из своих рассказов: «О, юность, юность! Сколько поэзии в твоей прозе, сколько света в твоих серых днях!» Талантливая, живая девушка лет семнадцати пошла на сцену — поступила в Москве к тому же Коршу. Там — неудачный роман с молодым художником, ребенок. Художник был женат, а кроме того, очень легкомыслен. Он оставил девочку-мать и ребенка на произвол судьбы, исчезнув бесследно.

Надо было знать, что такое было в то время понятие «незаконный ребенок». Но она не испугалась, стала воспитывать ребенка. Сперва билась как рыба об лед. Но скоро выбилась на дорогу. Среди ее знакомых был редактор «Русского вестника» Ключников, обративший внимание на ее литературные способности и поддерживавший ее на этом пути. С тех пор она бросила сцену и ушла в литературу. Переехала в Петербург. Когда ее мальчику было уже лет восемь, она встретила с Е.Э. Картавцевым, бывшим в то время казначеем Литературного фонда. Он сошелся с Крестовской, любил ее глубоко и серьезно, но долго не решался жениться на ней, разделяя всецело предрассудки тогдашнего «общества» — девушка с ребенком, писательница, богема... Ее — при всей любви к нему — оскорбляло его колебание и нерешительность, в которых она видела недостаток любви. Наконец, чувство взяло верх, он женился на ней, усыновил мальчика и этим дал ему возможность поступить в Морской корпус. А ее ввел в свое «общество». Из большой гордости она все сделала, чтобы «быть на высоте», и стала играть

роль «светской женщины» с таким же увлечением, как раньше писала свои романы.

Роль свою она играла мастерски, но это очень мешало ее литературной деятельности, и после на шумевшего романа «Артистка», которым зачитывались с увлечением вся Москва и весь Петербург, гадая, кого она хотела изобразить: Ермолову или Савину (а она никого не хотела изобразить, кроме своих личных переживаний, расцвеченных литературными узорами), — она долго ничего не писала. Слишком много времени и энергии брала роль светской женщины. В ее отношениях с мужем была трещина — она подсознательно не могла забыть его колебаний и связанных с этим своих страданий самолюбия и оскорбленной гордости... Ее горячая душа не способна была долго довольствоваться одним и тем же. Всегда хотелось чего-то нового. Очередным увлечением была вилла Мариоки, построенная ею в Финляндии. Там она как-то залюбовалась красивым видом. Муж сюрпризом купил ей этот клочок земли и предоставил построить дачу. Она пригласила молодого, талантливого архитектора и стала ему неумело рисовать свои мечты и планы, а он переводил эти мечты на язык цифр и чертежей. В результате получился один из очаровательнейших летних домов, который я видела, — стройный, легкий, полный воздуха и света. Этому уголку я обязана была чудными минутами и ему посвятила целый цикл стихов «Сказки Мариок». Что же удивительного, что создательница Мариок любила их, как нечто живое. Цветы слушались ее, и в июньские белые ночи, когда в цветнике пылали костры огненных азалий, Мариоки казались сказкой. Там она пережила свой короткий, бурный и несчастный роман, от которого так и не оправилась ни нравственно, ни физически. Тяжело заболела, болела с перерывами несколько лет. Во время передышек успела написать «Исповедь Мытищева», о которой профессор Бехтерев говорил, что ее надо читать всем, изучающим психиатрию.

Т.Л. Щепкина-Куперник. Из воспоминаний



В жизни Коли <Н.С. Гумилева. — Е.Л.> было много увлечений. Но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше. Под влиянием рассказов А.И. о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целостности там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепневе жила тетушка Варя — Варвара Ивановна Львова, по мужу Лампе, старшая сестра Анны Ивановны. К ней зимой время от времени приезжала ее дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда, кроме старенькой тетушки Вари, навстречу ему вышли две очаровательные молоденькие барышни — Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление. Это была высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная. Коля должен был остаться несколько дней в Слепневе, но оттягивал свой отъезд под всякими предложениями. Нянечка Кузьминых-Караваевых говорила: «Машенька совсем ослепила Николая Степановича». Увлеченный Машей, Коля умышленно дольше, чем надо, рылся в библиотеке и в назначенный день отъезда говорил, что библиотечная «...пыль пьянее, чем наркотик», что у него сильно разболелась голова, театрально хватался при тетушке Варе за голову, и лошадей откладывали. Барышни были очень довольны: им было веселее с молодым дядей. С Машей и Олей поэт долго засиживался по вечерам в библиотеке, что сильно возмущало нянечку Караваевых, и она часто бурно налетала на своих питомцев, но поэт нежно обнимал и унимал старушку, которая после говорила, что «долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает».

Летом вся семья Кузьминых-Караваевых и наша проводили



время в Слепневе. Помню, Маша всегда была одета с большим вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который был ей к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими, и, когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, «чтобы Машенька не дышала пылью». Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода, с книгой в руках все на той же странице, и взгляд его был устремлен на дверь. Как-то раз Маша ему откровенно сказала, что не в праве кого-ли-

бо полюбить и связать, так как она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта.

*...Когда она родилась, сердце
В железо заковали ей.
И та, которую любил я,
Не будет никогда моей.*

Осенью, прощаясь с Машей, он ей прошептал: «Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Они расстались, и судьба их навсегда разлучила.

А. Гумилева. Николай Степанович Гумилев





Л. Балестриери. Вдали



Л. Балестриери. Лето





И. Балестриери. Морозить — разладъ.

J. Balestrieri. Il gèle.

Жил в Москве в то время полицейский врач Дмитрий Павлович Кувшинников. Он был женат на Софье Петровне. Жили они в казенной квартире, под самой каланчой одной из московских пожарных команд. Дмитрий Павлович с утра и до вечера исполнял свои служебные обязанности, а Софья Петровна в его отсутствие занималась живописью (некоторые ее картины, между прочим, находятся в Третьяковской галерее). Это была не особенно красивая, но интересная по своим дарованиям женщина. Она прекрасно одевалась, умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Все у них в квартире казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах вместо занавесок были развешаны простые рыбацкие сети.

В доме Дмитрия Павловича собиралось всегда много гостей: и врачи, и художники, и музыканты, и писатели. Были вхожи туда и мы, Чеховы, и, сказать правду, я любила там бывать. Как-то так случилось, что в течение целого вечера, несмотря на шумные разговоры, музыку и пение, мы ни разу не видели среди гостей самого хозяина. И только обыкновенно около полуночи растворялись двери, и в них появлялась крупная фигура доктора с вилкой в одной руке и с ножом в другой, и торжественно возвещала:

— Пожалуйте, господа, покушать.

Все вваливались в столовую. На столе буквально не было пустого места от закусок. В восторге от своего мужа, Софья Петровна подскакивала к нему, хватала его обеими руками за голову и восклицала:

— Дмитрий! Кувшинников! (Она называла его по фамилии.) Господа, смотрите, какое у него выразительное, великолепное лицо!

Были вхожи в эту семью два художника: Левитан и Степанов. Софья Петровна брала уроки живописи у Левитана.

Обыкновенно летом московские художники отправлялись на этюды то на Волгу, то в Саввинскую слободу, около Звенигорода, и жили там коммунально целыми месяцами. Так случилось и на этот раз. Левитан уехал на Волгу, и... с ним вместе отправилась туда же и Софья Петровна. Она прожила на Волге целое лето; на другой год, все с тем же Левитаном, как его ученица, уехала в Саввинскую слободу, и среди наших друзей и знакомых стали уже определенно поговаривать о том, о чем следовало бы молчать. Между тем, возвращаясь каждый раз из поездки домой, Софья Петровна бросалась к своему мужу, ласково и бесхитростно хватала его обеими руками за голову и с восторгом восклицала:

— Дмитрий! Кувшинников! Дай я пожму твою честную руку! Господа, посмотрите, какое у него благородное лицо!

Доктор Кувшинников и художник Степанов стали уединяться и, изливая друг перед другом душу, потягивали вино. Стало казаться, что муж догадывался и молча переносил свои страдания. По-видимому, и Антон Павлович осуждал в душе Софью Петровну. В конце концов он не удержался и написал рассказ «Попрыгунья», в котором вывел всех перечисленных лиц. Смерть Дымова в этом произведении, конечно, придумана.

М.П. Чехова. Из далекого прошлого

Приблизительно с середины «Поединка», главы с четырнадцатой, работа у Александра Ивановича <Куприна. — Е.Л.> пошла очень медленно. Он делал большие перерывы, которые беспокоили меня.

— Опять не удалось сесть за работу, — жаловался Куприн.

— Ты пропустил много времени, и тебе все труднее и труднее приняться за работу. Мириться с этим я больше не могу. И вот мое твердое решение: пока не будет готова следующая глава, домой не приходи.

И повелось так, что домой, «в гости», Александр Иванович приходил отдыхать, когда у него была написана новая глава или хотя бы часть ее.

— Пишу очень медленно, Маша. Как я закончу повесть — еще не знаю, и это мучает меня. Могу

приносить тебе не более двух-трех страниц новой главы.

Но написать даже две-три страницы ему не всегда удавалось. И вот однажды он принес мне часть старой главы. Утром я сказала Александру Ивановичу, что так обманывать меня ему больше не удастся.

После его ухода я распорядилась на внутренней двери кухни укрепить цепочку.

Теперь, прежде чем попасть в квартиру, он должен был рукопись просовывать в щель двери и ждать, пока я просмотрю ее. Если это был новый отрывок из «Поединка», я открывала дверь.

Прошло некоторое время, и опять случилось так, что нового у Александра Ивановича ничего не было, а побывать в семье ему очень хотелось, и он опять принес мне несколько старых страниц, надеясь, что я их забыла.

Я читала и удивлялась: «Ведь это еще балаклавский кусок “Поединка”?»

Александр Иванович ждал на лестнице.

— Ты ошибся, Саша, и принес мне старье, — сказала я, просунув ему рукопись. — Спокойной ночи! Новый кусок принесешь завтра.

Дверь закрылась.

— Машенька, пусти, я очень устал, и хочу спать. Пусти меня, Маша...

Я не отвечала.

— Какая ты жестокая и безжалостная... — говорил Александр Иванович на лестнице.

Я поставила на плиту табурет, взобралась на него и через круглое окно с железной решеткой смотрела вниз.

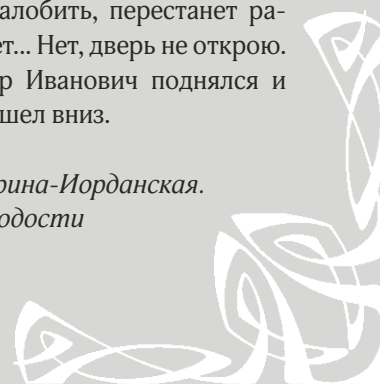
Александр Иванович сидел на ступеньке, обхватив голову руками. Его плечи вздрагивали. Я тоже плакала: мне было бесконечно жаль его. Впустить? Тогда он решит, что меня можно разжалобить, перестанет работать, запьет... Нет, дверь не открою.

Александр Иванович поднялся и медленно пошел вниз.

*М.К. Куприна-Иорданская.
Годы молодости*



И. Балестриери. Таеть — примирение. J. Balestrieri. Il dégelé.



«У»

всех опускаются руки со мной, — сказал он <М.А. Волошин. — Е.Л.>, — самая моя сущность надоедает очень скоро женщине, и у нее остается ко мне только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда я духом близок ей и между нами возникает дружба — я *не могу* ее коснуться, мне кажется кощунством даже поцеловать руку той, кого я люблю. (Его брак). И с другой стороны — когда я физически приближаюсь к женщине — мне кажется оскорбительной самая возможность заговорить с ней и общаться с духом». Он рассказал, что до 27 лет он был девственен, потом сблизился *случайно*, но никогда не мог отдаться, хотя бы временно, разврату и упиваться чувственностью, хотя его влекло мучительно к этому. «Во мне нет жеста разврата! — почти со слезами сказал он, — я не могу пьянствовать, не могу курить, не могу взять продажную женщину... Нет таких форм разврата и сближений, кот<орые> бы я не пережил в желании и в мечтах, но когда дело доходит до свершения — мной овладевает безумный стыд, я чувствую, что буду смешон, безобразен в этом, что это для меня *неверно*, и отступаю».

— Почему же вы молчали об этом стыде в своей лекции о нормальности всех видов и проявлений сексуальности?

— Пот<ому> что я себя самого не считаю нормой. Я помнил, что *мое* чувство субъективно и я урод среди других, а моя теория — для всех. У меня не было ни одного раза близости с женщиной, после которой я не казался бы себе самому преступником и не плакал бы над ней. Как бы охотно она ни шла навстречу, мне всегда каза-

лось, что я унизил, осквернил ее. И все сближения кончались тем, что женщины утешали меня, — роли менялись, и я сам становился страдающей женщиной. Вообще скажите, мужчина ли я? или нет?

Этот вопрос он повторял с комическим отчаянием. И потом сказал, что до сих пор его в жизни понимали, хотя отчасти, только женщины, друзья у него только среди женщин, и единственный мужчина, с которым он меньше ощущает свою нелепость, — Бальмонт, у которого исключительно женственная душа.

Из письма Аделаиды Герцык к Е.К. Герцык





Jef LEEMPOELS, Pinxit
Жэфъ Лимпэльсь

Tendres Aveux
Нежные признания

Большее всего, как я уже говорила, Бальмонт любил женское общество. Он любил женщин, как любил цветы. «Все цветы красивы», — сказал он в одном своем стихотворении. И все женщины казались ему привлекательными. Я бы затруднилась сказать, какой тип женщин ему нравился больше: и белокурые нравились ему, и брюнетки, хорошенькие и некрасивые, маленькие, юркие и полные, спокойные, чувствительные и холодные. Не нравились ему определенно только очень высокие, толстые и мужеподобные. От них он просто бежал. Ему и во мне не нравилось, что я была выше его ростом. Больше всего он ценил в женщинах женственность, желание нравиться, кокетство и любовь к поэзии. Он не оставался равнодушным ни к одному чувству,

которое к нему проявляли, будь то обожание подростка или интерес пожилой женщины. Он ухаживал за десятилетней девочкой, дружил со многими старушками (с мадам Ольстейн в Париже, с моей старшей сестрой, писательницей Александрой Алексеевной, и другими).

Влюблялся он мгновенно и первые дни своего увлечения не отходил обыкновенно от своего предмета. Он был несчастен, если не мог проводить каждый вечер у своей последней любви, сидеть с ней одной до ночи; он приглашал ее к себе или назначал ей где-нибудь свидание, ни с кем и ни с чем не считаясь, кроме ее и своего желания: ни с недовольством семьи, если эта была девушка, ни с ревностью мужа, если это была замужняя женщина.

Но такие романы длились недолго. Как они протекали, зависело всецело от лица, которым

Бальмонт был увлечен. Если это была пустая кокетка, он остывал к ней так же быстро, как быстро вспыхивал. Если же она отвечала ему искренне и пылко, его пламя разгоралось.

Я вмешивалась в его романы только в тех случаях, когда боялась, что увлечение Бальмонта может быть для нее трагическим. «Будет так, как она захочет, — говорил в этих случаях Бальмонт, — так, как она решит. Никого другого это не касается».

И я должна сказать, что я не знала романа Бальмонта, который бы кончился сколько-нибудь трагично. Конечно, многие переносили нелегко его «измены», страдали, но ни одна не чувствовала себя обиженной, тем более обманутой.

Е.А. Андреева-Бальмонт. Воспоминания



СОДЕРЖАНИЕ

5 Предисловие
Е.В. Лаврентьева

9 Из мемуаров

55 «Любовь-морковь»
(юмористические стихи)

121 Заграничная хроника
(по страницам периодики)

155 Из писем и фотографий

173 «Грехи молодости»
Е.В. Лаврентьева

Иллюстративно-художественное издание
Проект «Семейные архивы»

Лаврентьева
Елена Владимировна

Она и Он

Любовный быт
в мемуарах и периодике
конца XIX – начала XX века

Редактор
Н.В. Комарова
Дизайн проекта «Семейные архивы»:
А.Б. Архутик
Компьютерная верстка:
А.Н. Колганов
Сканирование, обработка фотографий и цветокоррекция:
А.Е. Комаров
Корректоры
О.В. Круподер, В.А. Нэй

Подписано с готовых диапозитивов 24.09.2013.
Формат 60х90/8. Гарнитура AdonisC.
Печ.л. 24, 5. Тираж 3 000 экз.

ООО «Издательство «Этерна»
115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 59а
Тел./факс (495) 755-81-23

E-mail: info@eterna-izdat.ru
www.eterna-izdat.ru